

КНУТ
ГАМСУН

Мистерии



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Зарубежная классика (АСТ)

Кнут Гамсун
Мистерии

«Издательство АСТ»

1892

УДК 821.113.5
ББК 84 (4Нор)

Гамсун К.

Мистерии / К. Гамсун — «Издательство АСТ»,
1892 — (Зарубежная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-118023-2

Один из знаковых романов для творчества Гамсуна, в котором основные принципы и темы его ранних произведений – темы провинции и «человека извне», общества и сильной личности, противостоящей ему уже самим фактом своего существования, – выступают с небывалой прежде обнаженной силой. В маленький провинциальный городок – удушливо-тихий, унылый и спокойный – приезжает странный человек – художник, бродяга, эксцентрик, не желающий и не привыкший соблюдать мещанские законы общества. И само его появление меняет жизнь городка до неузнаваемости – к добру или к худу, кто знает?

УДК 821.113.5

ББК 84 (4Нор)

ISBN 978-5-17-118023-2

© Гамсун К., 1892
© Издательство АСТ, 1892

Содержание

I	6
II	11
III	16
IV	22
V	30
VI	35
VII	44
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Кнут Гамсун

Мистерии

Роман

Knut Hamsun
Mysterier

* * *

Печатается с разрешения издательства Gyldendal Norsk Forlag AS.

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.

Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

© Gyldendal Norsk Forlag AS, 1917

© Перевод. Л. Лунгина, наследники, 2019

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

I

Весьма загадочные события произошли прошлым летом в маленьком норвежском городке на побережье. Неожиданно для всех там появился какой-то странный тип, некто Нагель, натворил невесть что и исчез так же внезапно, как и прибыл. Однажды к нему даже приехала таинственная молодая дама, одному Богу известно зачем, и уехала спустя несколько часов, не решаясь, видимо, дольше задерживаться. Впрочем, все началось не с этого...

Все началось с того, что часов в шесть вечера к пристани причалил пароход, и на палубу вышли несколько пассажиров, среди них – господин в желтом костюме и белой бархатной кепке. Это было несомненно 12 июня, потому что на многих домах в тот день развевались флаги по случаю помолвки фрекен Хьеллан, а об этой помолвке объявили именно 12 июня. Посыльный гостиницы «Централь» быстро поднялся на борт, и пассажир в желтом костюме указал ему на свой багаж; потом он предъявил билет боцману, стоявшему у трапа, но, вместо того чтобы сойти на берег, принялся расхаживать взад-вперед по палубе. Видно было, что он сильно взволнован. И только когда пароход прогудел третий раз, господин в желтом костюме спохватился, что еще не заплатил по счету в ресторане.

Он побежал было расплачиваться и вдруг заметил, что пароход уже отвалил от причала. На мгновение он застыл в растерянности, но тут же помахал посыльному и крикнул, подходя к перилам палубы:

– Ладно, доставьте мои вещи в гостиницу и приготовьте мне номер!..

А пароход тем временем шел в глубь фьорда.

Человека в желтом костюме звали Юхан Нильсен Нагель.

Посыльный погрузил на тележку его багаж, состоявший всего-навсего из двух небольших чемоданов и шубы – да, шубы, хотя лето было в разгаре, – а кроме того, саквояжа и скрипки. Ни на одной из вещей не было монограммы владельца.

На другой день около полудня Юхан Нагель подкатил к гостинице в карете, запряженной парой лошадей. С тем же успехом он мог бы вернуться пароходом, это было бы даже куда удобнее, но он почему-то предпочел карету. При нем оказался еще кое-какой багаж: на переднем сиденье стоял чемодан, а рядом лежали дорожная сумка, пальто и портплед, набитый какими-то вещами. На ремнях, стягивающих портплед, были вытиснены инициалы Ю. Н. Н.

Еще не успев выйти из кареты, он спросил хозяина гостиницы, приготовлен ли для него номер, а когда его отвели на второй этаж, он тут же принялся осматривать стены комнаты, выясняя, достаточно ли они толсты и не будет ли до него доноситься шум от соседей. Потом он вдруг спросил служанку:

– Как вас зовут?

– Сара.

– Сара. – И тут же: – Я могу здесь перекусить? Так вас, значит, зовут Сара. Послушайте, – продолжал он, – не была ли в этом доме прежде аптека?

– Была, но много лет тому назад.

– Так, так... Много лет тому назад, говорите. Да, здесь была аптека, я понял это, как только вошел в коридор. Не то чтобы я уловил какой-то запах, но все же как-то сразу почувствовал... Да, да.

Во время еды он не проронил ни единого слова. Те два господина, которые накануне вечером вместе с ним прибыли сюда на пароходе, а теперь сидели за дальним концом стола, перемигнулись и даже позволили себе пошутить над его вчерашней незадачей, но он сделал вид, что ничего не слышит. Он быстро поел, отрицательно покачал головой, когда ему подали

десерт, и вдруг, повернувшись винтом, стремительно вскочил. Затем он порывисто закурил сигару, выбежал на улицу и исчез.

Отсутствовал он очень долго и вернулся в гостиницу поздно ночью, за несколько минут до того, как часы пробили три. Где он был? Позже выяснилось, что он ходил в соседний городок и проделал пешком, причем туда и обратно, весь тот долгий путь, который в то же утро проехал в карете. Вероятно, у него там было неотложное дело. Когда Сара отворила ему дверь, она увидела, что он весь взмок от пота. Все же он улыбнулся девушке и явно был в превосходном настроении.

– Бог мой, какой у вас роскошный затылок, детка! – воскликнул он. – Не приносили ли мне, пока я отсутствовал, почту? Нагелью, Юхану Нагелью? Ух ты! Сразу три телеграммы! Послушайте, сделайте мне личное одолжение: уберите, пожалуйста, вон ту картину, чтобы она не мозолила мне глаза. Такая тоска лежать в постели и все время на нее глядеть. Ведь у Наполеона III вовсе не было зеленой бороды. Премного благодарен!

Когда Сара вышла, Нагель остановился посреди комнаты. Он стоял не двигаясь. Отсутствующим взглядом уперся он в одну точку на стене. Он словно застыл, и только голова его все больше и больше склонялась набок. Так простоял он очень долго.

Роста Нагель был ниже среднего, лицом смугл, а его странный тяжелый взгляд не вязался с тонко очерченным женственным ртом. Был он широкоплеч, на вид лет двадцати восьми – тридцати. Во всяком случае, никак не старше тридцати, хотя виски его уже были чуть тронуты сединой.

И вдруг, разом, Нагель очнулся от своей задумчивости; движение, которое он при этом сделал, было таким неестественно резким, что выглядело нарочитым; можно было подумать, будто он так долго пребывал в оцепенении только для того, чтобы как можно более эффектно из него выйти, хотя и был один в комнате. Затем он вынул из кармана брюк ключи, мелочь и какую-то медаль на жалкой ленточке, вроде тех, что дают за спасенье на водах, все эти предметы он разложил на тумбочке возле кровати, а бумажник сунул под подушку, потом извлек из кармана жилета часы и пузырек с наклейкой «Яд». Прежде чем положить часы на тумбочку, он с минуту держал их на ладони, но пузырек поспешно снова сунул в карман. Потом снял с пальца кольцо и умылся; волосы он небрежно откинул назад рукой, причем в зеркало даже и не взглянул.

Нагель уже лежал в постели, когда вдруг спохватился, что оставил кольцо на умывальнике; он тут же вскочил, словно не мог обойтись без этого грошового железного колечка, и надел его на палец. Наконец он распечатал все три телеграммы, но не успел дочитать до конца и первой, как у него вырвался короткий глухой смешок. Так он лежал один в комнате и смеялся. Зубы у него были на редкость красивые. Потом его лицо стало снова серьезным, и он отшвырнул все три телеграммы с полнейшим равнодушием. В них говорилось, однако, о весьма важном деле, речь шла ни много ни мало о шестидесяти двух тысячах крон за имение, более того, предлагалось выплатить всю эту сумму незамедлительно и наличными в случае, если сделка состоится безотлагательно. В этих сухих кратких деловых телеграммах решительно не было ничего смешного; ни под одной из них не стояло подписи. Спустя несколько минут Нагель уже спал. Две свечи, которые он забыл погасить, освещали его грудь и гладко выбритое лицо, неяркий свет падал и на распечатанные телеграммы, валявшиеся на столе...

На другое утро Юхан Нагель отправил посыльного на почту, и тот принес ему пачку газет, в том числе и иностранных. Но писем не было. Футляр со скрипкой Нагель положил на стул посреди комнаты, словно специально для того, чтобы все обращали на него внимание, но футляр он так и не раскрыл и к инструменту не притронулся.

Все утро он ничем не занимался, не считая того, что писал письма да читал какую-то книгу, расхаживая взад-вперед по комнате. Потом он вышел на улицу и купил в соседней лавчонке пару перчаток, а когда случайно забрел на рынок, отдал десять крон за рыжего щенка,

которого тут же преподнес хозяину гостиницы. Щенка он, всем на потеху, назвал Якобсеном, несмотря на то что щенок этот оказался к тому же сучкой.

Таким образом, весь день он, собственно говоря, ничем не был занят. Дел в городе у него никаких не было, визитов он никому не наносил, ничьих контор не посещал и, видно, не знал здесь ни души. В гостинице были несколько удивлены его явным равнодушием ко всему, даже к своим личным делам. Все три телеграммы по-прежнему валялись распечатанными на столе в его номере – он не прикоснулся к ним с того вечера, как их получил. Умел он также не отвечать на прямой вопрос. Хозяин дважды пытался выяснить у него, кто он такой и для чего пожаловал к ним в город, но оба раза Нагель уклонился от ответа. В этот день разнесся слух еще и о другой его странной выходке. Хотя он в городе ни с кем не был знаком, он позволил себе остановиться у кладбищенских ворот перед одной из здешних молодых барышень и очень низко ей поклонился, чем заставил ее густо покраснеть. После этого дерзкий незнакомец, ни словом не объяснив своего странного поведения, свернул на проезжий тракт, миновал пасторскую усадьбу и углубился в лес. Впрочем, этот путь он проделывал и все последующие дни. И с этих прогулок он так поздно возвращался в гостиницу, что всякий раз для него приходилось отпирать уже запертые на засов двери.

На третий день утром, как раз когда Нагель выходил из своего номера, его остановил хозяин гостиницы, учтиво поклонился ему и сказал несколько любезных слов. Они вместе проследовали на веранду, сели друг против друга, и хозяин завел разговор о том, что намерен послать в другой город ящик свежей рыбы.

– Не посоветуете ли вы мне, как лучше всего отправить этот ящик?

Нагель взглянул на ящик, улыбнулся и покачал головой.

– Увы, я не разбираюсь в таких делах, – ответил он.

– Жаль. А я думал, что вы много путешествуете и знаете, как это обычно делается.

– О нет, что вы, я совсем мало путешествую.

Пауза.

– Видимо, вы занимаетесь... э... другими вещами. Вы коммерсант?

– Нет, я не коммерсант.

– Выходит, не дела привели вас в наш город?

Ответа не последовало. Нагель закурил сигару; он не спеша выпускал дым и глядел на небо. Хозяин наблюдал за ним.

– Не поиграете ли вы нам как-нибудь? Я видел у вас скрипку, – сказал хозяин, пытаясь снова завязать разговор.

– Нет, я давно не играю, – равнодушно ответил Нагель.

Вслед за этим он, не произнеся больше ни слова, встал и ушел. Но минуту спустя он вернулся и сказал:

– Послушайте, я вот о чем подумал: вы можете дать мне счет, когда пожелаете. Мне решительно все равно, когда платить.

– Благодарю вас, но это не к спеху, – ответил хозяин. – Если вы к нам надолго приехали, мы сделаем скидку. Я ведь не знаю, намерены ли вы здесь задержаться или нет.

Нагель вдруг оживился и поспешно ответил, причем лицо его безо всякой видимой причины вдруг слегка покраснело.

– Да, не исключено, что я проживу здесь некоторое время, – сказал он. – Все зависит от обстоятельств. А proros, я, возможно, вам еще этого не говорил: я агроном, сельский житель, сейчас возвращаюсь из путешествия, и вполне вероятно, что задержусь здесь у вас. Возможно также, я забыл вам представиться... Зовут меня Нагель, Юхан Нильсен Нагель.

При этом он подошел к хозяину, сердечно пожал ему руку и попросил извинить за то, что еще до сих пор не представился. На лице его не было и тени иронии.

– Мы могли бы вам предложить лучшую, более тихую комнату. Ведь ваш номер – у самой лестницы, это не всегда приятно.

– Нет, премного благодарен, в этом нет нужды. Комната у меня прекрасная, я вполне ею доволен. К тому же окно выходит на рынок, а это весьма забавное зрелище.

Хозяин помолчал немного и сказал:

– Значит, вы располагаете временем. Как я понял, вы намерены прожить здесь, уж во всяком случае, все лето?

– Два-три месяца наверняка, а быть может, дольше. Точно я сам еще не знаю. Все зависит от обстоятельств. Поживем – увидим.

Тут мимо них прошел какой-то человек и поклонился хозяину гостиницы. Вид у этого человека был жалкий; он был очень мал ростом и крайне бедно одет. Казалось, он хромал на обе ноги, и каждый шаг давался ему с величайшим трудом, но все же передвигался он довольно быстро. Хотя он и поклонился очень низко, хозяин в ответ даже не поднял руки, чтобы коснуться своей шляпы. Нагель, напротив, тут же снял свою бархатную кепку.

Хозяин взглянул на Нагеля и объяснил:

– Этого человека у нас прозвали Минутка. Он малость тронутый, но его очень жалко, в сущности, это добрейшая душа.

Вот и все, что было сказано тогда о Минутке.

– Я прочел, – начал вдруг Нагель, – несколько дней назад я прочел в газете, что где-то здесь в лесу нашли мертвеца. Кто был этот несчастный? Его фамилия Карлсен, если я не ошибаюсь? Он что, местный?

– Да, – ответил хозяин, – он сын одной здешней женщины, которая ставит больным пиявки, вон их красная крыша, там, внизу. Он приехал домой на каникулы и вдруг, ни с того ни с сего, наложил на себя руки. Это весьма прискорбно – юноша подавал большие надежды и вот-вот должен был стать пастором. Не знаешь, что и подумать, как-то не все тут до конца ясно. У него перерезаны вены на обеих руках, поэтому в несчастный случай поверить трудно. Теперь нашли и нож, маленький перочинный ножик с белой ручкой. Полиция отыскала его только вчера поздно вечером. Скорей всего какая-то любовная история.

– Вот как? Да неужели еще кто-нибудь сомневается в том, что это самоубийство?

– Всегда надеешься на лучшее. Я хочу сказать, что есть люди, которые придумали такое объяснение: дескать, шел он, держа в руках раскрытый ножичек, споткнулся и упал, да так неудачно, что вспорол себе вены на обеих руках. Ха, ха, ха! Я полагаю, что в это трудно поверить, весьма трудно поверить. Но его, конечно, похоронят на кладбище. Нет, маловероятно, что он просто споткнулся.

– Вы сказали, нож нашли только вчера вечером. Разве он не лежал рядом с покойником?

– Нет, он валялся в нескольких шагах. Бедняга, должно быть, отшвырнул его прочь, распорол себе вены. Этот ножик нашли совершенно случайно.

– Вот как! Но какой ему был резон швырять нож, если он лежал со вскрытыми венами, ведь и так каждому понятно, что это невозможно сделать без ножа.

– Да, одному только Богу известно, что у него было тогда на уме. Но как я вам уже говорил, это скорей всего какая-то любовная история. Сущее безумие! Чем больше я об этом думаю, тем ужаснее мне все это представляется!

– А почему вы считаете, что это любовная история?

– По многим причинам. Впрочем, утверждать здесь что-либо определенное трудно.

– А разве нельзя допустить, что он упал, ненароком споткнувшись? Ведь он лежал в такой дикой позе – ничком, лицом в луже, если я не ошибаюсь.

– Да, и он был весь в грязи. Но это еще ни о чем не говорит. Быть может, он хотел таким образом скрыть следы предсмертных мук на своем лице? Как знать...

– А он не оставил какой-нибудь записки?

– Он как будто на ходу писал что-то; впрочем, он частенько делал какие-то заметки, прогуливаясь по этой дороге. Вот люди и думают, что он раскрыл перочинный ножичек, чтобы очинить карандаш, или что-нибудь в этом духе, но споткнулся и упал, полоснув себя при этом ножиком сперва по одной руке, а потом и по другой, причем оба раза аккуратно у пульса, и все это в один и тот же миг! Ха-ха-ха! Но что-то вроде записки он все-таки оставил – в сжатом кулаке у него оказался клочок бумаги, на котором было написано: «Пусть будет сталь твоя такою же разящей, как «нет» последнее твое».

– Что за чушь! А ножик был тупой?

– Да, тупой.

– Почему же он заранее его не наточил?

– Потому что это был не его нож.

– А чей же?

Хозяин медлит, но потом все же отвечает:

– Это был нож фрекен Хьеллан.

– Фрекен Хьеллан? – переспрашивает Нагель и, помолчав, снова задает вопрос: – Ну а кто такая фрекен Хьеллан?

– Дагни Хьеллан, дочь нашего пастора.

– Вот как! Любопытно. Кто б мог подумать! Что, этот юноша был так сильно в нее влюблен?

– Да что и говорить! Впрочем, в нее все влюблены, не он один.

Нагель погружается в свои мысли и больше ничего не спрашивает. Тогда хозяин прерывает молчание:

– То, что я вам сейчас рассказал, тайна, и я прошу вас...

– Да, да, конечно, – перебивает его Нагель. – Вы можете быть совершенно спокойны.

Когда Нагель вскоре после этого разговора пошел завтракать, хозяин уже стоял посреди кухни и хвастался, что ему удалось наконец-то толком поговорить с желтым господином из седьмого номера. Он агроном, сообщил хозяин, и только что вернулся из заграничного путешествия, говорит, что собирается прожить здесь несколько месяцев, в общем, бог его знает что это за человек.

II

Вечером того же самого дня случилось так, что Нагель познакомился с Минуткой. Между ними произошел нудный нескончаемый разговор, длился он битых три часа, не меньше. Вот как все это было, от начала и до конца.

Юхан Нагель сидел в кафе гостиницы и просматривал газету, когда в зал вошел Минутка. Другие столики тоже были заняты. За одним сидела грузная крестьянка с красно-черной вязаной шалью на плечах. По всей видимости, Минутку здесь хорошо знали, и хотя он вежливо поклонился во все стороны, присутствующие встретили его громкими возгласами и смехом. Даже крестьянка поднялась со своего места и сделала вид, будто хочет пуститься с ним в пляс.

– В другой раз, в другой раз, – бормочет он, уклоняясь от приглашения, и, направившись прямо к хозяину, обращается к нему, теребя в руках шапку: – Я перетаскал уголь наверх, на кухню. Верно, сегодня уже нет больше работы?

– Конечно, нет, какая еще может быть работа сегодня?

– Конечно, нет, – повторяет Минутка и боязливо пятится.

Он был на редкость уродлив. Правда, у него были кроткие голубые глаза, но отвратительные передние зубы устрашающе торчали из-под губы. Особо отталкивающее впечатление производила его дергающаяся походка – результат давнего увечья. Волосы у него были с сильной проседью, а борода еще темная, но такая редкая, что сквозь нее просвечивала кожа. В прошлом этот человек был моряком, а теперь жил у родственника, который держал небольшую торговлю углем у пристани. Минутка почти никогда, а может быть, и вообще никогда не поднимал глаз на того, с кем говорил.

Его окликает какой-то господин в сером летнем костюме, сидящий за одним из столиков, энергичными жестами подзывает к себе и показывает на бутылку с пивом.

– Подойдите-ка сюда и выпейте стаканчик этого молочка для младенцев! Да еще мне хотелось бы посмотреть, как вы будете выглядеть без бороды, – говорит он.

Почтительно склонив голову, все еще теребя шапку в руках, Минутка направляется к столику, с которого его окликнули. Проходя мимо Нагеля, он кланяется ему и беззвучно шевелит губами. Он останавливается перед господином в сером и шепчет:

– Не так громко, господин поверенный, прошу вас. Вы же видите, здесь присутствуют посторонние.

– Бог ты мой, я хочу лишь угостить вас стаканом пива, а вы ругаете меня за то, что я слишком громко говорю.

– Вы меня не так поняли. Прошу извинения, но в присутствии чужих мне б не хотелось, чтобы начинались старые шутки. Да и пить пиво я не могу, сейчас не могу.

– Что за новости! Вы не можете выпить пива? Не можете?!

– Нет, благодарю вас, не сейчас.

– Вы не сейчас меня благодарите? Позвольте, а когда же вы меня благодарите? Ха-ха-ха! Ведь вы сын пастора. Следите за своей речью.

– Вы меня не так поняли, но что поделаешь...

– Бросьте, не ваяйте дурака. Что это с вами случилось?

Поверенный силком сажает Минутку на стул, тот покорно сидит несколько мгновений, но потом вскакивает.

– Нет, отпустите меня, – просит он, – я не в состоянии пить. Я теперь переносу питье еще хуже, чем прежде, бог его знает почему. Я и опомниться не успеваю, как уже пьян, пьян в стельку.

Поверенный встает, пристально глядит на Минутку, сует ему в руку стакан и приказывает:

– Пейте!

Пауза. Минутка поднимает глаза, откидывает со лба волосы и долго молчит.

– Хорошо, чтобы вам угодить. Но только несколько глотков, – добавляет он. – Я лишь пригублю, чтобы иметь честь с вами чокнуться.

– Пейте до дна! – кричит поверенный и отворачивается, чтобы не расхохотаться.

– Нет, до дна я не смогу. Никак не смогу. Почему я должен пить пиво, если моя утроба его не принимает? Не сердитесь на меня, не хмурьте из-за этого брови. Ну хорошо, я готов выпить все до дна, если уж вы так настаиваете. Надеюсь, пиво не ударит мне в голову. Смешно, конечно, но я совсем не переношу спиртного. Ваше здоровье!

– Пейте до дна, до дна! – снова орет поверенный. – Все, до капли! Вот так, это я понимаю. Ну-с, а теперь присядьте и начните корчить рожи. Для начала поскрипите немного зубами, а потом я отрежу вам бородку, и вы сразу помолодеете на десять лет. Но для начала – поскрежьте зубами!

– Нет, не буду я этого делать, не могу в присутствии чужих людей. Вы не должны этого требовать. Я в самом деле не буду, – говорит Минутка и поднимается, чтобы уйти. – Да и времени у меня нет, – добавляет он.

– Нет времени? Вот беда! Ха-ха-ха! Да, беда, ничего не скажешь. Времени нет, говорите?

– Да, сейчас нет.

– Послушайте, а что, если я вам скажу, что давно уже намерен купить вам новый сюртук взамен вот этого старья... Дайте-ка пощупать, да он ни к черту не годен. Глядите сами! Пальцем дотронешься, и ему конец. – Поверенный ткнул пальцем в маленькую дырочку в сюртуке. – Вот видите, материя так и ползет, совсем истлела. Нет, вы только поглядите, поглядите сами!

– Оставьте меня, Христом Богом молю! Что я вам сделал? И не рвите мой сюртук.

– Да говорят же вам, что я завтра подарю вам новый. Я обещаю вам это в присутствии – дайте-ка посчитать – раз, два, три, четыре... семь – в присутствии семи человек! Да что это с вами сегодня? Надулся, сердится! Готов нас всех растоптать. Да, да, готов! И все из-за того, что я, видите ли, посмел дотронуться до его сюртука.

– Извините меня. Я вовсе не сержусь. Вы же знаете, я стараюсь угодить вам во всем, но...

– Ну так угодите мне и сядьте вот сюда.

Минутка откидывает со лба прядь седых волос и садится.

– Вот и хорошо. А теперь угодите мне еще раз и поскрежьте немного зубами.

– Нет, этого я делать не буду.

– Значит, не будете? Да или нет?

– Боже милостивый, что же я вам такого сделал? Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Почему я должен быть для всех шутом гороховым? Вот тот незнакомый господин глядит в нашу сторону, я это заметил, он не сводит с нас глаз и, должно быть, тоже потешается. Как только вы сюда приехали, чтобы занять место поверенного, в первый же вечер доктор Стенерсен научил вас издеваться надо мной. А теперь вы даете такой же урок вон тому господину. Один учит этому другого.

– Так как же, да или нет?

– Нет! Слышите вы, нет! – кричит Минутка и вскакивает со стула. Но, словно испугавшись своего отчаянного поступка, он тут же вновь плюхается на стул и бормочет: – Да я уже и не могу скрежетать зубами, поверьте мне.

– Не можете? Ха-ха-ха! Еще как можете! Вы отлично скрежете зубами!

– Богом клянусь – не могу.

– Ха-ха-ха! Вы же в тот раз скрежетали.

– Да, но тогда я был пьян, я ничего не помню, у меня все плыло перед глазами. А после я два дня болел.

– Что правда, то правда, – говорит поверенный, – вы тогда были пьяны, с этим я не спорю. Но к чему, позвольте вас спросить, вы болтаете об этом при посторонних? Этого я от вас не требовал.

Тут хозяин выходит из кафе. Минутка молчит. Поверенный глядит на него и спрашивает:

– Ну, так как же? Долго прикажете ждать? Вспомните о новом сюртуке.

– Я о нем помню, – отвечает Минутка, – но я не хочу и не могу больше пить. Так и знайте!

– Можете и хотите! Слышите, что я говорю? Можете и хотите – говорю я. А если нет, я сам волю вам пиво в глотку...

С этими словами поверенный вскакивает с места, держа стакан Минутки в руках.

– Открывайте пасть! Живо!

– Видит Бог, я не хочу больше пива! – кричит Минутка, бледный от волнения. – И никакая сила на свете не заставит меня больше пить. Вы должны извинить меня, но мне делается дурно от пива. Вы даже представления не имеете, как мне потом бывает худо. Сжальтесь надо мной, умоляю вас. Уж лучше... лучше я поскрежешу зубами без пива.

– Что ж, это другое дело. Это, черт возьми, совсем другое дело, если вы готовы скрежетать всухую.

– Да, уж лучше я поскрежешу просто так, без пива...

И Минутка под пьяный хохот присутствующих принимается наконец скрипеть своими ужасными зубами. Нагель, по-видимому, все еще читает газету. Он сидит совершенно неподвижно на своем месте у окна.

– Громче, громче! – орет поверенный. – Скрежещите громче, а то мы вас не слышим.

Минутка сидит на стуле прямо, вцепившись руками в сиденье, словно боится упасть, и скрипит зубами столь усердно, что голова у него трясется от напряжения. Присутствующие хохочут, крестьянка заливается так, что слезы текут у нее из глаз, она просто заходится от смеха и даже два раза харкает на пол, просто так, от восторга.

– Боже праведный, вот умора... Умрешь от смеха! – стонет она. – Ну и шутник этот поверенный...

– Все! Громче не могу, – говорит Минутка, – в самом деле не могу, Бог мне свидетель! Поверьте, у меня больше нет сил.

– Нет уж, нет... Отдохните немножко и валяйте снова. Поскрежетать зубами вам еще придется. А потом мы вас побреем. Выпейте-ка пиво. Пейте, пейте, вот ваш стакан.

Минутка качает головой и молчит. Тогда поверенный вынимает кошелек и, положив на стол монету в двадцать пять эре, говорит:

– Прежде вы это делали за десять эре, но мне не жаль заплатить четвертак. Видите, я повышаю ваш гонорар. Вот!

– Отступитесь от меня. Я больше не могу.

– Не можете? Вы отказываетесь?

– Боже мой, Боже мой, да перестаньте же наконец издеваться надо мной! Даже ради нового сюртука я не буду больше вас потешать. Я ведь тоже человек. Что вы от меня хотите!

– Ну-с, вот что я вам скажу: видите, я стряхиваю пепел с моей сигары в ваш стакан, затем беру эту обгорелую спичку и одну новую спичку, и все это тоже бросаю туда... А теперь я ручаюсь, что вы все же выпьете этот стакан до дна. Выпьете все, до последней капли, ясно?

Минутка вскакивает, он весь дрожит, седая прядь снова падает ему на лицо. Не мигая, глядит он в глаза поверенному. Проходит несколько секунд.

– Ну будет, будет! – восклицает крестьянка. – Хватит с него! Ха-ха-ха! Помилуй Бог!

– Итак, вы не хотите? Вы отказываетесь? – спрашивает поверенный.

Минутка делает над собой невероятное усилие, чтобы что-то сказать, но не может. Все глядят на него.

И тогда вдруг встает Нагель, не спеша кладет на стол газету и медленно идет от своего столика у окна через зал. Он не произносит ни слова, но все же привлекает к себе всеобщее внимание. Он останавливается возле Минутки, кладет ему руку на плечо и говорит громко и звучно:

– Если вы возьмете свой стакан и выплеснете его в лицо этому щенку, я дам вам десять крон и всю ответственность за этот поступок возьму на себя.

Нагель указывает на поверенного, чуть не ткнув пальцем ему в лицо, и повторяет:

– Я говорю про этого вот щенка...

В кафе становится совсем тихо. Минутка испуганно смотрит то на одного, то на другого и бормочет:

– Но... нет... но?..

Больше он ничего не в силах произнести, но эти слова он повторяет все снова и снова дрожащим голосом, так, словно задает вопрос. Все молчат. Поверенный, опешив, отступает на шаг, хватается за спинку стула; бледный как полотно, он тоже не произносит ни звука, хоть рот у него открыт.

– Повторяю, – отдельно и громко продолжает Нагель, – я дам вам десять крон, если вы выплеснете свой стакан в физиономию этому щенку. Вот эти деньги, они у меня в руке. Последствий этого поступка вам тоже опасаться нечего.

И Нагель действительно протягивает Минутке десятикronовую бумажку.

Но Минутка ведет себя в высшей степени странно. Ни слова не говоря, он устремляется в дальний угол кафе, ковыляет через весь зал и садится там на пол. Он сидит скрючившись, притиснув к себе колени, опустив голову, и боязливо озирается по сторонам.

Тут дверь кафе отворяется и в зал входит хозяин. Он возится за стойкой, не обращая никакого внимания на посетителей. И только когда поверенный вдруг испускает истошный, почти безумный вопль и, подняв обе руки, бросается на Нагеля, хозяин поднимает голову и спрашивает:

– Что здесь в конце концов происходит?

Но никто ничего не отвечает. Поверенный дважды в бешенстве кидается на Нагеля, но оба раза наталкивается на его сжатые кулаки. Ударить Нагеля ему так и не удается. От сознания своего бессилия он окончательно теряет голову и принимается нелепо размахивать руками, словно желая всех и вся уничтожить; в конце концов он бочком пятится к столику, спотыкается о табурет и падает на колени; он задыхается, бессильная ярость делает его неузнаваемым; кроме того, он ссадил себе в кровь руки об эти железные кулаки, которые повсюду встречали его бестолковые удары. В кафе поднимается суматоха, крестьянка и ее спутники кидаются к дверям, а остальные кричат, перебивая друг друга, и пытаются помешать драке. Наконец поверенному удается снова подняться на ноги. Он подходит к Нагелю, останавливается перед ним и, вытянув вперед руки, начинает в комическом исступлении вопить, не находя слов, чтобы выразить свое отчаяние:

– Распроклятый!.. Черт бы тебя подрал!.. Мерзавец!..

Нагель смотрит на него, улыбается, подходит к его столику, берет лежащую на нем шляпу и с поклоном протягивает ее поверенному. Тот порывисто хватается шляпу с явным намерением швырнуть ее в лицо обидчику, но почему-то одумывается и с маху нахлобучивает ее себе на голову. Потом он резко поворачивается и выходит из кафе. Шляпа сильно измята, и вообще вид у поверенного весьма потешный.

Тут хозяин подлетает к Нагелю и требует у него объяснений. Он хватается Нагеля за рукав и спрашивает:

– Что здесь происходит? Что все это значит?

– Потрудитесь отпустить мой рукав, – говорит в ответ Нагель. – Я вовсе не собираюсь убегать. К тому же здесь ровным счетом ничего не произошло. Просто я оскорбил человека,

который сейчас выбежал отсюда, а он пытался защищаться. И это вполне естественно. Так что все в порядке.

Но хозяин продолжает сердиться и даже топает ногой.

– Я не потерплю, чтобы здесь устраивали спектакли. Я не допущу этого! Если вы намерены скандалить, то ступайте на улицу. И чтоб ничего подобного больше не было. Ясно вам?.. Просто с ума все посходили!..

– Да ничего особенного не случилось! – вмешиваются несколько посетителей. – Мы свидетели!

И поскольку добропорядочные люди всегда на стороне сильного, они безоговорочно берут сторону Нагеля и наперебой объясняют хозяину, что к чему, а Нагель пожимает плечами и подходит к Минутке. Без всяких обиняков спрашивает он маленького седого шута:

– Кем вам приходится, собственно говоря, поверенный, что он позволяет себе так издеваться над вами?

– Да что вы! – отвечает Минутка. – Никем он мне не приходится. Он мне никто. Правда, однажды я плясал для него на рынке за десять эре. Просто он всегда преследует меня своими шутками.

– Так вы, значит, пляшете за деньги, на потеху зрителям?

– Да, иногда, но не часто. Только если мне позарез нужны десять эре и я не могу их достать другим путем.

– А на что вам деньги?

– Как на что? На многое. Во-первых, я ведь дурачок, я ни на что не гожусь, и мне частенько приходится туго. Когда я служил матросом и мог сам себя прокормить, мне жилось куда как хорошо. А потом я упал с мачты, расшибся, сломал хребет и с тех пор перебиваюсь кое-как. Меня кормит мой дядя, и вообще я сижу у него на шее, но я ни на что не жалуюсь, у меня есть все что надо, даже с лишком, потому что дядя понемногу торгует углем. Да я и сам вношу кое-что в дом, особенно теперь, летом, когда угля почти не берут. Уверю вас, это так же верно, как то, что я сейчас говорю с вами. Вот в такие дни эти десятиэровые монетки мне очень кстати, я чего-нибудь покупаю на них и приношу домой. Что же до поверенного, то его веселят мои пляски именно потому, что из-за своего увечья я не могу плясать как люди.

– Значит, ваш дядя не против того, чтобы вы плясали за деньги на рынке?

– Нет, нет, что вы, вы не должны так думать! Он частенько говорит: «Мне не нужны эти шутковские гроши». Да, когда я приношу ему десять эре, он всегда называет их шутковскими и ругает меня за то, что я посмешище для людей...

– Ну хорошо, это во-первых. А что же во-вторых?

– Простите, что?..

– Ну а что же во-вторых?

– Я вас не понимаю.

– Вы сказали, что, во-первых, вы дурачок, ну а во-вторых?

– Если я так сказал, прошу простить меня.

– Таким образом, выходит, что вы только дурачок, и все.

– Я искренне прошу простить меня.

– Ваш отец был пастором?

– Да, пастором.

Пауза.

– Послушайте, – говорит Нагель, – если вы никуда не спешите, давайте поднимемся ко мне в номер. Вы не против? Вы курите? Отлично. Пойдемте, прошу вас, я живу здесь наверху. Я буду очень рад, если вы заглянете ко мне.

К немалому удивлению всех присутствующих, Нагель и Минутка поднялись на второй этаж и провели вместе весь вечер.

III

Минутка сел на стул, взял сигару и закурил.

– Может, вы что-нибудь выпьете? – спросил Нагель.

– Нет, я не пью. От спиртного у меня голова идет кругом и все начинает двоиться в глазах, – ответил гость.

– Вы когда-нибудь пили шампанское? Ну конечно же, пили.

– Да, много-много лет тому назад, на серебряной свадьбе моих родителей.

– Вам понравилось?

– Да, припоминаю, это было очень вкусно.

Нагель позвонил и велел подать шампанского.

Они потягивают шампанское и курят. Вдруг Нагель, пристально взглянув на Минутку, говорит:

– Скажите... Я хочу задать вам один вопрос, который может показаться смешным. Согласились бы вы, конечно, за известную сумму, чтобы вас записали как отца в метрику ребенка, отцом которого вы не являетесь? Мне это пришло в голову просто так, я не имею в виду ничего определенного.

Минутка глядел на него широко раскрытыми глазами и молчал.

– За небольшое вознаграждение, крон в пятьдесят или, скажем, даже в две сотни, сумма здесь не имеет значения, – сказал Нагель.

Минутка покачал головой и долго молчал.

– Нет, – проговорил он наконец.

– В самом деле не хотите? Деньги я выплатил бы наличными.

– Все равно! Нет, этого я сделать не могу. Этой услуги я оказать вам не в силах.

– А собственно говоря, почему?

– Не просите больше, оставьте меня. Я ведь тоже человек.

– Да, быть может, это действительно уж слишком, с какой стати вы обязаны оказывать кому-то такую услугу? Но мне хочется задать вам еще один вопрос: согласились бы вы... Ну могли бы вы, за пять крон, конечно, пройтись по городу с газетой или бумажным кулем на спине?.. Вы выйдете отсюда, из гостиницы, потом направитесь на рыночную площадь и на пристань... Согласны вы это сделать? За пять крон?

Минутка смущенно склонил голову и механически повторил: «Пять крон», но ничего не ответил.

– Ну да, за пять или за десять крон. За десять крон вы бы это сделали?

Минутка откинул со лба волосы.

– Я не понимаю, откуда вы, приезжие, наперед знаете, что я для всех шут? – сказал он.

– Как видите, я могу тотчас вручить вам эти деньги, – продолжал Нагель, – все зависит только от вас.

Минутка впивается взглядом в ассигнации. Растерянно глядит на них, облизывает пересохшие губы и не выдерживает.

– Да я...

– Простите, – поспешно останавливает его Нагель. – Простите, что я прерываю вас, – повторяет он, чтобы не дать гостю говорить. – Как ваша фамилия? Я, право, не помню, но, кажется, вы не сказали мне, как вас зовут.

– Меня зовут Грегорд.

– Вот как, Грегорд? Скажите, а тот Грегорд, делегат Эйдсволльского съезда, не доводится вам родственником?

– Да, с ним я в родстве.

– Так о чем же мы говорили? Ах да, значит, ваша фамилия Грегорд? И вы, конечно, не согласитесь заработать эти десять крон таким манером?

– Нет, – неуверенно пробормотал Минутка.

– А теперь послушайте, – сказал Нагель, очень медленно выговаривая каждое слово. – Я с радостью дам вам эти десять крон за то, что вы не согласились на мое предложение. И, кроме этих десяти крон, я дам вам еще десять крон, если вы доставите мне удовольствие и примете эти деньги. Не вскакивайте, пожалуйста, это пустячное одолжение меня ничуть не обременит. У меня сейчас много денег, вполне достаточно, чтобы не испытывать затруднений из-за такой малости. – Вынув деньги из кошелька, он добавил: – Возьмите, пожалуйста, вы доставите мне удовольствие.

Но Минутка сидит молча, от радости у него словно язык отнялся, он с трудом сдерживает слезы. Он часто моргает глазами и всхлипывает.

– Вам, наверно, лет сорок или около того? – спрашивает Нагель.

– Мне сорок три. Пошел сорок четвертый.

– Спрячьте теперь эти деньги в карман. Ну, в час добрый... Кстати, как фамилия поверенного, с которым мы разговаривали внизу, в кафе?

– Не знаю. Все зовут его просто поверенный. Он поверенный в канцелярии окружного судьи.

– Да это, впрочем, и не имеет значения. Скажите-ка лучше...

– Простите! – Минутка больше не может сдерживаться, он так преисполнен благодарности, что непременно хочет высказаться, лепечет что-то бессвязно, как ребенок. – Извините и простите меня, – говорит он. И долгое время он уже не в силах вымолвить ни слова.

– Что вы хотите сказать?

– Спасибо... Спасибо от всего... Сердечное...

Пауза.

– Ну хватит об этом.

– Нет, не хватит! – восклицает Минутка. – Я прошу меня простить, но никак не хватит. Вы подумали, что я не хочу сделать то, о чем вы меня просили, лишь из упрямства, что мне доставляет радость стоять на задних лапках, как собачонка, но Богом вам клянусь... Как вы можете сказать «хватит», когда у вас, наверно, сложилось впечатление, что я просто набиваю цену, что пять крон показались мне недостаточной платой?.. Вот это я и хотел сказать.

– Ну ладно, ладно... Человек, носящий ваше имя и получивший ваше воспитание, не должен вести себя как шут. Знаете, о чем я подумал... Вы ведь в курсе всего, что происходит в городе, правда? Дело в том, что я намерен пожить здесь некоторое время, провести здесь лето. Что вы на это скажете? Вы родом отсюда?

– Да, я здесь родился, мой отец был здесь пастором, и с тех пор как я получил увечье – вот уже тринадцать лет, – я снова живу здесь.

– Вы, кажется, разносите уголь?

– Да, я разношу уголь по домам, и вы ошибаетесь, если думаете, что мне это трудно. Я уже давно приноровился к этой работе, и мне она совсем не во вред, надо только осторожно подниматься по лестнице. Правда, прошлой зимой я все-таки упал и так расшибся, что долго ходил с палкой.

– Что вы говорите? Как же это случилось?

– Я нес уголь в банк, а ступеньки там немного обледенели. Я подымался с довольно тяжелым мешком. Когда я дошел до середины, я увидел наверху консула Андерсена, который как раз спускался вниз. Я было хотел повернуть назад, чтобы пропустить консула. Нет, он не сказал мне, чтобы я его пропустил, это ведь само собой разумеется. Я и собирался было это сделать, но повернулся так несчастливо, что поскользнулся, упал на правое плечо и покатился с лестницы. «Что с вами? – крикнул мне консул. – Вы не стонете, значит, вы не расшиблись?» –

«Нет, – ответил я, – кажется, мне повезло». Но не прошло и пяти минут, как я два раза подряд терял сознание; кроме того, мое старое увечье дало себя знать, и у меня тут же отек живот. К слову сказать, консул щедро одарил меня, хотя его вины не было никакой.

– Больше вы ничего себе не повредили? Головой вы не ударились?

– Да, голову я себе немного ушиб. Некоторое время я еще и харкал кровью.

– И что, консул вам помогал в течение всей вашей болезни?

– Еще как! Он посылал мне все необходимое. Он и дня не забывал обо мне. Но самое удивительное было вот что: в то утро, когда я наконец смог встать и отправиться к нему, чтобы поблагодарить, он велел поднять флаг на своем доме. Представьте себе, он приказал поднять флаг исключительно в мою честь, хотя это и был день рождения фрекен Фредерики.

– А кто такая фрекен Фредерика?

– Его дочь.

– Вот как! Это весьма трогательно с его стороны. Да, кстати, скажите, вы не знаете, почему здесь в городе несколько дней назад повсюду были вывешены флаги?

– Несколько дней назад? Дайте припомнить... Наверно, это было с неделю назад? Да? Флаги висели в честь помолвки фрекен Хьеллан, Дагни Хьеллан. Вот так одна барышня за другой празднуют помолвку, потом выходят замуж и уезжают. У меня сейчас есть подруги и знакомые, можно сказать, во всех уголках страны, и среди них, поверьте, нет ни одной, с которой мне не хотелось бы встретиться вновь. Все они росли на моих глазах, играли, ходили в школу, принимали первое причастие, становились взрослыми... Дагни двадцать три года, и она любимица всего города. Ах, как она хороша! Она помолвлена с лейтенантом Хансенем, который давным-давно подарил мне вот эту фуражку, что я ношу. Он тоже родом отсюда.

– У фрекен Хьеллан светлые волосы?

– Да, светлые, она такая красивая, что все в нее влюблены.

– Должно быть, я ее повстречал возле усадьбы пастора. Она ходит с красным зонтиком?

– Да. Ни у кого, кроме нее, здесь нет красного зонтика. Если у той барышни, что вы встретили, была толстая светлая коса, то это точно она. Ее у нас ни с кем не спутаешь. Но вам, видно, не довелось еще с ней поговорить?

– Нет, представьте, довелось. – И Нагель задумчиво сказал как бы про себя: – Так это, значит, и была фрекен Хьеллан!..

– Но наверно, вы обмолвились с ней лишь несколькими словами. Настоящего разговора у вас еще не было, правда? Вам это еще предстоит. Она от души хохочет, когда ей что-нибудь кажется смешным. А часто она смеется безо всякой причины, просто потому, что ей весело. Если вам придется с ней поговорить, то непременно обратите внимание на то, с каким вниманием она слушает, что бы вы ни говорили, никогда не перебьет вас и ответит только после того, как вы замолчите... Она говорит, и краска смущения заливает ей лицо. Я это часто замечал, когда она при мне с кем-нибудь беседовала. Боже, какой она становится красивой в эти минуты! Но я тут, конечно, в счет не иду, со мной она болтает запросто, безо всякого стеснения. Я могу смело подойти к ней на улице, и она всегда остановится и протянет мне руку, даже если спешит. Может, вы мне не верите, но когда-нибудь вы воочию в этом убедитесь.

– Отчего же, охотно вам верю. Значит, фрекен Хьеллан ваша близкая знакомая?

– Просто она ко мне всегда очень добра, не более того. Вот и все. Иногда меня приглашают в дом пастора. Думаю, что не буду нежеланным гостем, даже если зайду и без приглашения. Фрекен Дагни давала мне книги, когда я болел, да, она мне их не присылала, а приносила сама.

– А что это были за книги?

– Вас интересует, какие книги мне под силу читать и понимать?

– Нет, на этот раз вы неверно истолковали мои слова. Вы проницательны, но, повторяю, вы ошиблись. Однако вы занятный человек. Я хотел лишь узнать, какие книги собраны у фрекен Хьеллан, что она читает? Мне это любопытно.

– Помню, как-то раз она принесла мне «Крестьяне-студенты» Гарборга и еще две другие книги, одна из них была как будто «Рудин» Тургенева, а в другой раз она читала мне вслух «Непримиримых» Гарборга.

– Это ее личные книги?

– Нет, ее отца. На них стояло его имя.

– Кстати, когда вы отправились к консулу Андерсену, чтобы поблагодарить его, как вы рассказывали...

– Я хотел поблагодарить его за помощь, которую он мне оказал.

– Вот именно. А флаги были вывешены до того, как вы пришли?

– Да, он велел вывесить их в мою честь, консул сам мне это сказал.

– Ясно. А может быть, их все-таки вывесили по случаю дня рождения фрекен Фредерики?

– Что ж, возможно. Вполне возможно, что и так. Это тоже хорошо. Было бы просто позором не вывесить флагов в честь дня рождения дочери.

– Вы, несомненно, правы... Поговорим лучше о другом. Сколько лет вашему дяде?

– Около семидесяти, наверно. Нет, пожалуй, я хватил лишку, но что ему за шестьдесят, это точно. Конечно, он уже старый, но еще вполне бодрый для своих лет. В случае чего он может читать и без очков.

– Как его зовут?

– Тоже Грегорд. Мы оба – Грегорды.

– У вашего дяди дом собственный или он его снимает?

– Комнату, в которой мы живем, он снимает, а угольный склад принадлежит ему. Но не думайте, что нам трудно платить, если вы это имеете в виду. Мы расплачиваемся углем, а иногда мне удается отработать в счет платы.

– Но ведь ваш дядя, наверно, не разносит уголь?

– Нет, это моя обязанность. Он развешивает его и ведет все торговые дела, а я разношу. Да мне это и сподручней, ведь я сильнее.

– Понятно. А стряпать вы, вероятно, нанимаете женщину?

Пауза.

– Извините меня, – сказал наконец Минутка, – и, пожалуйста, не сердитесь, но если вы разрешите, я лучше уйду. Наверно, вы задерживаете меня, только чтобы доставить мне удовольствие, я не могу допустить, чтобы вам было интересно разговаривать со мной о моих делах. А может быть, вы позвали меня к себе по причине, которую я не понимаю? Что ж, тогда куда ни шло. Но если я сейчас уйду, не думайте, что меня кто-нибудь обидит. Я не встречу на улице злых людей, поверенный не караулит меня за дверью, чтобы отомстить, может, вы этого опасаетесь? А даже если бы он и поджидал меня, он не сделал бы мне ничего дурного, наверняка не сделал бы, я в этом уверен.

– Вы доставите мне удовольствие, если посидите еще немного. Но вы не должны думать, что обязаны рассказывать мне о себе только потому, что я дал вам несколько крон на табак. Поступайте как вам заблагорассудится.

– Я останусь, останусь! – воскликнул Минутка. – И да благословит вас Бог! Я счастлив, что вы находите хоть какую-то приятность в моем обществе, – ведь я стыжусь и себя самого, и своего вида. Я мог бы и приодеться немного, если бы знал, что мне предстоит такая встреча. На мне ведь старый сюртук моего дяди, он уже совсем ветхий, это правда, до него и пальцем нельзя дотронуться. А тут еще поверенный разодрал его... Надеюсь, вы меня извините... А что до женщины, которая бы нам стряпала, то у нас такой нет. Мы сами и еду себе готовим, и стираем, но это нам совсем не трудно, к тому же мы упростили все до предела. Если мы, например,

утром варим кофе, то вечером выпиваем остатки, даже не разогревая. Обед мы готовим сразу на несколько дней из чего придется. Да разве мы можем в нашем положении желать лучшего! Кроме того, стирка – тоже мое дело. Для меня это даже развлечение, когда нет другой работы.

Тут снизу до них донесся звон колокольчика, а потом слышались шаги по лестнице – это постояльцы спускались ужинать.

– Звонят к ужину, – сказал Минутка.

– Да, – подтвердил Нагель, но с места не встал и ничем не проявил своего нетерпения. Напротив, он поглубже уселся в кресло и спросил:

– Быть может, вы знали и Карлсена, которого недавно нашли мертвым в лесу? Печальная история, не правда ли?

– Да, очень печальная. Я с ним был хорошо знаком. Прекрасный, благородный человек. Вот что он мне однажды сказал. Меня позвали к нему как-то в воскресенье утром. С тех пор уже, пожалуй, год прошел. Ну да, это было прошлым маем. Он попросил меня отнести письмо. «Хорошо, – говорю, – я отнесу, но на мне такие опорки, что в них стыдно показаться на люди. Если вы разрешите, я сперва сбегаю домой и попрошу дать мне на этот случай башмаки попривличней». – «Нет, в этом нет нужды, – ответил он, – это не имеет никакого значения, если только вы не промочите ноги». Представляете, он беспокоился о том, чтобы я не промочил ноги! Он сунул мне в руку крону и дал письмо. Когда я уже вышел от него, он вдруг распахнул дверь и побежал за мной, лицо его было таким радостным, что я остановился и поглядел на него; глаза его были полны слез. Он крепко обнял меня, прижал к своей груди, он по-настоящему обнял меня, даю вам слово, и сказал: «Ну, ступайте, старина, несите это письмо. Я не забуду вас. Когда я стану пастором и получу приход, я возьму вас к себе, и вы будете жить у меня. Ну, в добрый час, и да поможет вам Бог!» К сожалению, он так и не получил прихода. Но, останься он жив, он бы сдержал свое слово.

– Вы отнесли это письмо?

– Да.

– А фрекен Хьеллан обрадовалась, когда его получила?

– Откуда вы знаете, что письмо было к фрекен Хьеллан?

– Как откуда? Вы же сами это только что сказали.

– Я? Сказал? Неправда!

– То есть как неправда? Вы хотите сказать, что я лгу?

– Нет, извините меня, возможно, вы и правы, но я не должен был этого говорить. Я выболтал это по рассеянности. Нет, неужто я в самом деле это сказал?

– А что такое? Разве он запретил вам об этом говорить?

– Нет, он не запрещал.

– Значит, она?

– Да.

– Хорошо, можете на меня положиться, я никому об этом не скажу. Но вы понимаете, почему он решил умереть?

– Нет. Надо же было случиться такому несчастью.

– Вы не знаете, когда состоятся похороны?

– Завтра в полдень.

Больше об этой истории они не говорили. Некоторое время они сидели молча. Сара просунула голову в дверь и напомнила, что ужин подан. Наконец Нагель прервал молчание:

– Так, значит, фрекен Хьеллан помолвлена? А что собой представляет ее жених?

– Ее жених – лейтенант Хансен. Бравый офицер и действительно превосходный человек. За ним она будет как за каменной стеной.

– Он богат?

– Отец его очень богат.

– Коммерсант?

– Нет, судовладелец. Их дом неподалеку отсюда, впрочем, дом у них невелик, но большой им и не нужен, ведь когда сын женится, старики останутся одни. У них, правда, есть еще дочь, но она замужем и живет в Англии.

– Как вы думаете, у старика Хансена много денег?

– Думаю, не меньше миллиона. Но никто этого толком не знает.

Пауза.

– Да, – сказал вдруг Нагель. – Несправедливо устроен этот мир. Вот вам бы хоть немного из этих денег, Грегорд!

– Избави Бог, на что они мне нужны! Надо довольствоваться тем, что имеешь.

– Это только так говорят... А теперь мне хочется вас еще вот о чем спросить. У вас, должно быть, не остается времени для другой работы, раз вы разносите уголь? Это ведь ясно. Но я слышал, как вы спросили хозяина, нет ли у него для вас еще какого-нибудь дела, верно?

– Нет, – ответил Минутка и покачал головой.

– Как же нет? Это было внизу, в кафе. Вы сказали, что принесли уголь на кухню, и спросили у хозяина, не надо ли еще чего-нибудь сделать.

– А, верно, но на то у меня была особая причина. А вы обратили на это внимание?.. Просто я рассчитывал тут же получить деньги за уголь, но не решился попросить об этом хозяина. Вот поэтому я и спросил его, нет ли еще какой-нибудь работенки. У нас сейчас как раз туго с деньгами, и мы надеялись получить за уголь.

– А сколько вам нужно, чтобы выйти из затруднения? – спросил Нагель.

– Бог с вами, что вы, что вы! – воскликнул Минутка. – Не говорите даже об этом, вы и так помогли нам сверх всякой меры. Речь шла всего о шести кронах. А теперь я сижу с вашими двадцатью кронами в кармане, да воздаст вам за это Господь... Дело в том, что мы задолжали лавочнику за картошку и еще кое за что. Он прислал нам счет, и мы с дядей ломали себе голову, как нам раздобыть эти деньги. Но теперь все в порядке, мы можем спокойно лечь спать, а завтра утром проснуться и ни о чем не беспокоиться.

Пауза.

– Ну а теперь, пожалуй, лучше всего нам будет допить шампанское и на сегодня расстаться, – сказал Нагель и встал. – Ваше здоровье! Надеюсь, мы еще увидимся. В самом деле, вы должны обещать, что непременно навестите меня, я живу, как видите, здесь, в седьмом номере. Благодарю вас за сегодняшний вечер!

Нагель сказал это искренним тоном и пожал Минутке руку. Затем он проводил своего гостя до самых дверей гостиницы и снова, сняв свою бархатную кепку, низко ему поклонился.

Пятясь, Минутка переступил порог и, не переставая кланяться, заковылял вверх по улице. Он был не в состоянии выдать из себя ни слова, хотя все время силился что-то сказать.

Нагель вошел в столовую и учтиво извинился перед Сарой за опоздание к ужину.

IV

Юхан Нагель проснулся утром от стука в дверь – Сара принесла газеты. Он наскоро пробежал их и швырнул на пол. Сообщение о том, что Гладстон на двое суток был прикован к постели вследствие простуды, но теперь поправился, он перечел дважды и расхохотался. Он лежал, закинув руки за голову, и думал. Время от времени он даже громко разговаривал сам с собой.

Да, опасно гулять по лесу с раскрытым перочинным ножиком в руке. Как легко, оказывается, можно споткнуться и так неуклюже упасть. Вот ведь случилось это с Карлсеном... Впрочем, расхаживать со склянкой яда в кармане тоже опасно, чего доброго, поскользнешься и грохнешься наземь, склянка – вдребезги, поранишься осколком, и яд попадет в кровь. Нет пути, на котором нас не подстерегала бы опасность. Неужто это так? Впрочем, есть один вполне безопасный путь – тот, по которому идет Гладстон. Так и вижу его лицо хитроватого хозяинчика, когда он идет этим путем: как он осмотрителен, как боится оступить, как он помогает судьбе оградить себя от всех превратностей. Вот и простуда его прошла. Да, этот уж доживет до глубокой старости и до своего смертного часа будет в полном здравии.

Пастор Карлсен, почему ты уткнулся лицом в лужу? Неужели так никто и не узнает, сделал ли ты это сам, чтобы скрыть гримасу страха перед смертью, или тебя так скрючила предсмертная судорога? Ты сам выбрал час своего конца, как ребенок, который боится темноты: среди бела дня сразу после обеда ты упал на землю, зажав в руке прощальную записку. Бедный, бедный Карлсен!

А собственно, почему ты выбрал для осуществления своей блестящей затеи именно лес? Ты что, так любил лес? Больше, чем поля, дороги или море? «Мальчонка по лесу бродил целый день, по темному лесу бродил, тра-ла-ла...» Вот, например, Вардальские леса по дороге в Гьевик. Лежать там, и дремать, и забыть обо всем, глядеть вверх, смотреть в небо, ха-ха-ха, да так пристально, что едва ли не слышать, как там шепчутся и обсуждают нас, земных грешников, тут внизу. «Если и этот сюда придет, – шипит покойная мама, – я отсюда уберусь». И делает из этого вопрос государственной важности. Ха-ха-ха, смеюсь я в ответ и говорю: т-ссс, не мешай мне, только не мешай! Я кричу это так громко, что привлекаю к себе внимание двух ангелочков женского пола – Саввы Бьёрнсон и дщери многоуважаемой Яиры. Ха-ха-ха!

Какого черта, собственно говоря, я лежу здесь и смеюсь? Неужто во мне говорит чувство превосходства? Только дети должны иметь право смеяться да совсем молоденькие девушки, и больше никто. Смех – это атавистический признак, доставшийся нам от обезьян, гнусные, бесстыдные звуки, вырывающиеся из горла. Смех исторгается из меня, когда меня щекочут под мышками. Что это мне сказал мясник Хауге, который сам оглушительно хохотал и, к слову сказать, гордился этим? Он сказал, что нет человека, обладающего пятью органами чувств, который бы...

А до чего прелестна была его дочурка! В тот день, когда я повстречал ее на улице, хлестал дождь. В руках у нее были судки, она шла и плакала, потому что потеряла деньги, на которые должна была купить в ресторации готовый обед. О усопшая мама, видела ли ты оттуда, с неба, что у меня не было ни единого шиллинга, чтобы утешить малютку, что я буквально рвал на себе волосы, но у меня не было ни гроша. Тут вдруг по улице продефилировал оркестр, а красивая монахиня обернулась и ослепила меня сверкающим взглядом, потом она смиренно пошла своей дорогой, опустив очи долу, должно быть, казня себя за этот сверкнувший взгляд. Но в это мгновение какой-то господин с длинной бородой, в мягкой фетровой шляпе схватил меня за руку, иначе я попал бы под экипаж. Да, видит Бог, я чуть не погиб...

Слышишь?.. Один... два... три, как медленно они бьют... четыре... пять... шесть... семь... восемь... неужели восемь? Девять... десять... Уже десять часов! Надо вставать! Инте-

ресно, где это быют часы? Не может быть, чтобы внизу, в кафе. Но ведь это не имеет значения, не имеет значения. А какой нелепый скандал я учинил вчера в кафе! Минутка весь дрожал, я вступился как раз вовремя. Наверняка кончилось бы тем, что он выпил бы пиво с окурками и спичками. Ну и что с того? Могу ли я спросить тебя, олух ты любопытный: ну и что с того? Какого дьявола я всегда сую свой нос в чужие дела? Да и вообще, на кой черт я сюда приехал? Уж не причина ли этому какой-нибудь мировой катаклизм, вроде простуды Гладстона? Ха-ха-ха! Бог вознаградит тебя, дитя мое, если ты во всем чистосердечно признаешься и скажешь все как есть: ты уже возвращался домой, но вдруг почему-то тебя так взволновал этот заштатный городок, хотя он такой маленький и невзрачный, что ты готов был заплакать от охватившей тебя непонятной щемящей радости при виде всех этих вывешенных флагов. А ргорос, это было двенадцатого июня, и флаги вывесили в честь помолвки фрекен Хьеллан. Два дня спустя я встретил ее саму.

И надо же было мне встретиться с ней как раз в тот вечер, когда я находился в таком смятении и плохо понимал, что делаю. Стоит мне все это вспомнить, и я готов сквозь землю провалиться от стыда.

– Добрый вечер, фрекен, извините, я приезжий, вышел прогуляться и не знаю, куда забрел.

Минутка прав – она тут же краснеет, а когда отвечает, краснеет еще больше.

– А куда вам надо? – спрашивает она и поднимает на меня глаза.

Я снимаю кепку и стою с непокрытой головой. Пока я так стою с кепкой в руках, я придумываю, что ответить:

– Будьте добры сказать мне, как далеко отсюда до города. Только точное расстояние, прошу вас.

– Я не знаю, – говорит она. – Отсюда – не могу сказать, но от дома пастора ровно четверть мили. Это первый дом, который вы увидите на дороге.

И она поворачивается, чтобы идти дальше.

– Благодарю вас, – говорю я, – но если к дому пастора надо идти через лес, а вы направляетесь туда или дальше, то разрешите мне проводить вас. Солнце уже зашло, позвольте мне нести ваш зонтик. Я не буду вас ничем обременять, даже говорить с вами не буду, если вам это неприятно. Разрешите мне только идти рядом с вами и слушать птичий пересвист. Нет, не уходите, не уходите так сразу! Почему вы убегаете?

Но так как она продолжала бежать и не желала меня слушать, я бросился ей вдогонку, чтобы извиниться перед ней.

– Черт меня подери, если ваше ясное лицо не произвело на меня сильнейшего впечатления!

Но тут она припустилась во весь дух, и очень скоро я потерял ее из виду. Она бежала, держа в руке свою тяжелую светлую косу. Никогда я не видал ничего подобного.

Вот как это было. Я не хотел ее обидеть, ничего дурного у меня не было на уме. Готов биться об заклад, что она по уши влюблена в своего лейтенанта. Мне и в голову не приходило навязывать ей себя. Ну что ж, хорошо, все хорошо; ее лейтенант, быть может, решит вызвать меня на дуэль. Ха-ха-ха! Он сговорится с поверенным из канцелярии окружного судьи, и они вместе вызовут меня.

Интересно, подарит ли поверенный Минутке новый сюртук? Мы можем обождать денек-другой, но если он и через два дня не выполнит своего обещания, то придется ему напомнить. Точка. Нагель.

Я видел здесь одну бедную женщину. Когда я проходил мимо, она так робко на меня посмотрела, словно хотела попросить о чем-то, но не могла решиться. Я не в силах забыть ее глаз, хотя она и совсем седая. Я уже четыре раза нарочно шел кружным путем, только чтобы не встретиться с ней. Она не старая, нет, не от возраста побелела ее голова. Ее брови еще очень

черные, пугающе черные, ужасающе черные, а глаза из-под них так и мерцают. Почти всегда у нее под фартуком спрятана корзина, – этого она, видимо, и стыдится. Когда она шла мимо меня, я обернулся, поглядел ей вслед и увидел, что направляется она на рынок, вынимает там из корзины два-три яйца и тут же продает их не торгуясь, затем снова прячет корзину под фартук и спешит домой. Живет она в крохотной хибарке, внизу, у пристани. Домишко этот одноэтажный и некрашенный. Однажды я увидел ее через окно; у нее на окне нет занавесок, только подоконник уставлен горшками с белыми цветами. Она стояла в глубине комнаты и, пока я шел мимо, провожала меня взглядом. Бог ее знает, что это за женщина. Но руки у нее совсем маленькие. Я мог бы подать тебе милостыню, седая девушка, но мне хотелось бы помочь тебе иначе.

Впрочем, я знаю, почему твои глаза так потрясли меня, я знал это с первой минуты, как увидел тебя. Странно, что юношеская любовь так долго преследует человека и все вновь и вновь напоминает о себе. Но ведь у тебя не ее благословенное лицо, да ты и гораздо старше ее. А потом, она вышла замуж за телеграфиста и переехала в Кабельвог. Вот так, сколько голов, столько умов.

Я не мог дожждаться ее любви, да я бы никогда и не дождался ее. Тут уж ничего не поделаешь... Часы пробили половину одиннадцатого... Нет, тут уж ничего не поделаешь. Но если бы ты только знала, как напряженно я думал о тебе все эти двенадцать лет, я никогда не забывал тебя... Ха-ха! Но это уже моя беда, а она здесь ни при чем. Другие помнят только год, и конец, а я мучаюсь десять лет кряду.

Я помогу этой седой девушке, продающей яйца. Я дам ей денег и помогу еще как-нибудь – ради ее глаз помогу... Денег у меня будет хоть отбавляй, стоит мне только дать согласие, и шестьдесят две тысячи крон за имение у меня в кармане. Ха-ха-ха! В подтверждение мне надо лишь взглянуть на стол, там валяются три важнейшие телеграммы... Все это курам на смех! Когда ты агроном и капиталист, то не соглашаешься сгоряча на первое же предложение. Тут, как говорится, нужно семь раз отмерить, обмозговать все как следует. Так ты и поступаешь – обдумываешь сделку не спеша, и ни у кого ни тени сомнения, хотя это – розыгрыш, и притом грубый. О человек, имя твое – осел! Покажи тебе морковку, и ты пойдешь куда угодно. Из кармана моего жилета, который висит вон там, торчит горлышко аптечного пузырька. Это – яд, синильная кислота. Я таскаю его в кармане просто так, забавы ради, и у меня не хватает мужества использовать его по назначению. Почему же я храню эту склянку и зачем я раздобыл ее? Это тоже обман, модное декадентское шутовство, самореклама и снобизм... Фу!.. Как нежна и тонка эта милая рука!..

Или взять хотя бы такую, казалось, невинную вещь, как моя медаль за спасение утопающего. Я ее честно заработал – так, кажется, принято говорить. Чем только не случается заниматься, даже спасеньем утопающих. Но видит Бог, моей заслуги в этом не было. Судите сами, многоуважаемые дамы и господа: молодой человек стоит у перил палубы, он плачет, его плечи вздрагивают. Когда я с ним заговариваю, он в смятении глядит на меня и бросается вниз, в салон. Я следую за ним, но он уже заперся в своей каюте. Я беру список пассажиров, нахожу его фамилию и узнаю, что у него билет до Гамбурга. Так проходит первый вечер. С тех пор я уже не спускаю с него глаз, настигаю его в самых неожиданных местах и заглядываю ему в лицо. Зачем? Многоуважаемые дамы и господа, судите сами! Я вижу, что он не в силах сдержать слез, он мучительно страдает и подолгу глядит за борт остановившимися безумными глазами. Мое ли это дело? Конечно, нет, и поэтому судите сами, не стесняйтесь! Проходит несколько дней, поднимается ветер, море бушует. Ночью, часа в два, мой подопечный выходит на кормовую палубу, я, конечно, уже там, лежу, притаившись, и веду наблюдение. В лунном свете лицо его кажется мертвенно-бледным. И что же дальше? Он озирается по сторонам, простирает руки и прыгает через борт ногами вперед. Все же он не в силах сдержать вопля. Сожалеет ли он о своем решении, или его в последний миг охватывает страх? Если это не так, то чего же

он вопит? Многоуважаемые дамы и господа, что бы вы сделали на моем месте? Я предоставляю вам право решить это самим. Быть может, вы отнеслись бы с уважением к благородному мужеству этого несчастного, хотя он и дрогнул в последний момент, и остались бы в своем укрытии. Я же, напротив, крикнув что-то капитану на мостике, тоже прыгаю за борт, да так поспешно, что лечу головой вниз. Я барахтаюсь как сумасшедший, мечусь в разные стороны и слышу, что на пароходе громогласно объявляют тревогу. И вдруг я нащупываю его руку, вытянутую, негнущуюся, словно закованную, с растопыренными пальцами. Он еще слабо бултыхает ногами. Я хватаю его за шиворот, он становится все тяжелей и тяжелей, весь как-то обмякает, совсем перестает двигаться, но в конце концов все же делает рывок, чтобы от меня оторваться. Нас швыряет вверх и вниз, потом на нас обрушивается большая волна и сталкивает нас лбами, да так, что у меня темнеет в глазах. Что прикажете делать? Я скрежещу зубами, ругаюсь на чем свет стоит, но держу голубчика мертвой хваткой до тех пор, пока не подходит шлюпка. Я спас его, спас грубо и бесцеремонно, но не оказал ли ему медвежьей услуги? Ну и что с того? Судите сами, многоуважаемые дамы и господа, я предоставил вам это право. И нечего со мной миндальничать. Мне на это наплевать. Но предположите на миг, что этому молодому человеку было очень важно не приплывать в город Гамбург. Вот ведь какая штука. Быть может, там ему предстояла встреча с человеком, с которым ему до смерти не хотелось встречаться. Но медаль эта – медаль за самоотверженный поступок, и я ношу ее в своем кармане, а не кидаю к свиньям собачьим. И это вам следует учесть в своем приговоре. Судите, как вам заблагорассудится, мне-то, черт побери, какое до всего этого дело? Поверьте, мне все это так безразлично, что я даже забыл имя этого самоубийцы, хотя он наверняка жив и по сей день. А почему он это сделал? Быть может, от безнадежной любви, быть может, действительно тут была замешана женщина, кто знает? Но ведь мне все это в самом деле безразлично. Точка!..

О, женщины, женщины! Взять, к примеру, Камму, милую датчанку Камму. Да хранит тебя Господь! Нежна, как голубка, просто исходит нежностью, и к тому же полна преданности. Но при всем при том вытягивает из человека последний шиллинг, чуть ли не доводит его до суммы. Склонит этак свою лукавую головку и шепчет: ну, Симонсен, ну, прошу тебя, милый! Господь с тобой, Камма! Ты была сама преданность! И убирайся ко всем чертям, мы квиты...

Ну ладно, пора вставать.

Нет, от таких надо бежать! «Мой сын, опасна женская любовь!..» – как сказал великий поэт, или что он там еще сказал в этом роде?

Карлсен был безвольным человеком, идеалистом, он погиб из-за своих сильных чувств, иначе говоря, из-за своих слабых нервов, что, в свою очередь, означает плохое питание и недостаток физической работы на свежем воздухе... Ха-ха-ха! Работы на свежем воздухе!.. «Пусть будет сталь твоя такою же разящей, как «нет» последнее твое!» Он все-таки испортил свою репутацию цитатой из великого поэта. Предположим, я встретил бы Карлсена еще вовремя, пусть даже в последний день, пусть даже за полчаса до конца, и он рассказал бы мне, что намерен процитировать кого-то в своей предсмертной записке, тогда я ответил бы ему примерно следующее: «Посмотрите-ка на меня, я пока еще владею всеми своими пятью чувствами, и как частица человечества я заинтересован в том, чтобы вы не осквернили свой смертный час строчками из того или другого великого поэта. Знаете ли вы, кто такой великий поэт? Да, великий поэт – это человек, который потерял стыд, который просто не знает стыда. У всех других глупцов бывают в жизни моменты, когда они все же краснеют, оставшись наедине с собой, но с великими поэтами такого не случается никогда. Посмотрите-ка на меня, если уж вам так необходимо кого-нибудь процитировать, то цитируйте географа и не позорьте себя. Виктор Гюго!.. Скажите, у вас еще сохранилось чувство юмора? Однажды барон Леден разговаривал с Виктором Гюго. «Кто, по вашему мнению, первый поэт Франции?» – спросил ехидный барон. Виктор Гюго криво усмехнулся, покусал губу и в конце концов ответил: «Второй – Альфред де Мюссе». Ха-ха-ха! Но, может, вы утратили чувство юмора? А знаете ли вы, что

сделал Виктор Гюго в 1870 году? Он написал обращение ко всем людям на земле, в котором он строго-настрого запрещал немецким войскам осаждать и обстреливать Париж. «У меня там племянники и масса других родственников, я не желаю, чтобы их ранило осколком гранаты!..»

Да, а где же мои башмаки? Куда провалилась Сара с моими башмаками? Уже скоро одиннадцать, а она их еще не принесла.

Итак, будем цитировать географа...

А кстати, до чего же роскошная фигура у этой Сары. И бедрами она раскачивает при ходьбе, словно сытая кобыла. Загляденье, да и только! Интересно, была ли она замужем? Во всяком случае, она вряд ли станет громко визжать, если ее схватишь за ляжку, ее, наверное, недолго придется уламывать... Как-то мне довелось быть свидетелем одной свадьбы и даже, так сказать, присутствовать на ней. М-да. Многоуважаемые дамы и господа, произошло это воскресным вечером на одной железнодорожной станции в Швеции, точнее, на станции Кунгсбака. Убедительно прошу вас запомнить, что это произошло именно в воскресенье вечером. Меня поразили ее большие белые руки; что до него, то это был безусый юнец в новеньком, с иголки, кадетском мундире. Она тоже была очень юна, оба, можно сказать, совсем дети. Ехали они из Гетеборга. Я наблюдал за ними из-за газеты. Мое присутствие их явно стесняло, и они все время растерянно глядели друг на друга. У девочки возбужденно блестели глаза, и она никак не могла усидеть на месте. Паровоз загудел, поезд подходил к Кунгсбаку. Он схватил ее за руку, она его мгновенно поняла, и, как только вагон остановился, они поспешно прыгнули на перрон. Она со всех ног кинулась к двери с надписью: «Для женщин», он бежал за ней, не отставая ни на шаг. Боже мой, он ошибся, он тоже влетел в дверь «Для женщин» и тотчас притворил ее за собой. В это мгновение грянули церковные колокола, – ведь это был воскресный вечер, – и под колокольный благовест они сидели там, запершись. Прошло три минуты, потом четыре, потом пять... Что с ними? Они там, а колокольный звон плывет над городом, и одному Богу известно, не опоздают ли они на поезд! Наконец он приоткрыл дверь и выглянул. Он был с непокрытой головой, а она стояла за его спиной и надевала ему на голову фуражку. Он обернулся к ней и улыбнулся. Он сбежал со ступенек, она за ним, на ходу оправляя платье. Они вскочили в вагон и снова заняли свои места, и никто не обратил на них внимания, никто, кроме меня. Глаза у девочки были золотые, когда она взглянула на меня и улыбнулась, а ее маленькая грудь вздымалась от прерывистого дыхания. Через несколько минут они уже спали, – заснули, словно провалились, так они счастливо устали.

Ну-с, что вы на это скажете? Многоуважаемые дамы и господа, мой рассказ окончен. Но я обращаюсь не к той очаровательной даме с лорнетом и мужским крахмальным воротничком, я хочу сказать, не к тому вон синему чулку, а лишь к тем двум или трем из вас, кто не живет, подавляя в себе все человеческое, и не занимается общественно полезной деятельностью. Простите великодушно, если я кого-нибудь обидел, особо прошу прощения у уважаемого синего чулка с лорнеткой. Поглядите-ка, теперь она встает. Так и есть – встает! Готов побожиться, что она либо хочет уйти, хлопнув дверью, либо привести какую-нибудь цитату. А если она намерена цитировать, то лишь затем, чтобы разнести меня в пух и прах. А если она намерена меня разнести, то скажет примерно следующее. «Гм, – скажет она, – никогда не встречала более скотского представления о жизни, чем у этого господина. И это он называет жизнью? Мне остается только предположить, что данный господин никогда не слышал, как замечательно высказывался на эту тему один из величайших мыслителей современности. Жизнь, – сказал он, – это нескончаемая война с демонами в своем сердце и своем мозгу...»

Жизнь, значит, это нескончаемая война с демонами. Да! В своем сердце и своем мозгу. Верно! Многоуважаемые дамы и господа! Однажды норвежец по имени Пер, кучер почтовой кареты, вез некоего великого поэта. Едут они, едут, и вдруг простодушный возница возьми да и спроси: «Прошу прощения, господин хороший, а что это означает: сочинять?» Великий поэт закусывает губу, выпячивает елико возможно свою куриную грудку и изрекает: «Сочинять,

мой друг, это беспрестанно вершить суд над самим собой». Этим ответом почтовый кучер Пер был потрясен до глубины души...

Одиннадцать часов. Башмаки... Где мои башмаки?... Но восставать из-за этого против вся и всех...

Высокая бледная дама, вся в черном, с сладчайшей улыбкой, она желает мне только добра, берет меня за рукав, чтобы остановить, и говорит: «Если бы вы оказались в силах вызвать такое же общественное движение, как этот великий поэт, вы имели бы право рассуждать о нем».

– Куда мне! – смеюсь я в ответ. – Я не знаком ни с одним поэтом и никогда ни с одним из них и слова не сказал! Я агроном, сударыня, и всю жизнь вожусь с зерном и с дерьмом. Да я, сударыня, не в силах сложить стишок даже про зонтик, не то что про жизнь и смерть и про вечный мир.

– Что ж, можно взять и любого другого великого человека. Вы воображаете невесть что о себе и поносите на чем свет стоит всех великих людей. Но великие люди остаются великими и будут неизбежно стоять на своих пьедесталах на протяжении всей вашей жизни. Вы в этом сами убедитесь.

– Сударыня, – отвечаю я, учтиво склонив голову, – сударыня, Боже, до чего все это невежественные суждения, какое интеллектуальное убожество сквозит в ваших словах. Впрочем, извините, что я говорю вам все это прямо в глаза. Но будь вы мужчиной, я готов был бы биться об заклад, что вы принадлежите к левым. Да разве я ниспровергаю всех великих людей? Но я не сужу о величии человека по тому общественному резонансу, который получает его деятельность. Я сужу о нем сам, своим ничтожным умишком и нравственным чувством. Я оцениваю его, так сказать, по тому привкусу, который его деятельность оставляет у меня во рту. Я вовсе не строю из себя невесть что, просто это проявление субъективной логики, которая у меня в крови. Разве так важно вызвать общественное движение лишь для того, чтобы в округе Хейвог псалмам Кинго предпочли псалмы Ланнстада. Дело ведь вовсе не в том, чтобы произвести сенсацию в кружке адвокатов, журналистов или там галлилейских рыболовов, не в том, чтобы издать научный трактат о Наполеоне *petit*. Суть в том, чтобы оказывать влияние на власть, воспитывать ее, воздействовать на избранных, на тех, кто стоит у кормила, на великих мира сего, на Кайаф, Понтиев Пилатов и кесарей. Что толку иметь влияние на толпу, если ты все равно будешь распят? Толпа, правда, может стать такой многочисленной, что она вырвет себе когтями крупицу власти, ей можно дать в руки нож и велеть резать и колоть, ее можно гнать перед собой, словно стадо ослов, чтобы получить большинство при голосовании, но одержать подлинную победу, завоевать духовные ценности, продвинуть человечество хоть на одну пядь вперед – нет, это толпе не под силу. Великие люди – отличная тема для досужих разговоров, но правители, все, кто поднят над толпой, все, кто сегодня на коне, должны напрячь свою память, прежде чем сообразить, кто он, тот, кого мы величаем великим человеком. Вот и выходит, что великие люди – утеха для толпы, их славословят только адвокаты, учителя, журналисты да еще, быть может, бразильский король.

– Ну... – иронически говорит моя собеседница. Председатель стучит по столу, пытается водворить тишину, но дама не унимается и продолжает: – Ну, раз вы не щадите никого из великих, назовите тех или хотя бы того единственного, который все же чего-то стоит в ваших глазах. Все же забавно узнать...

– Я это охотно бы сделал, – отвечаю я, – но дело в том, что вы поймали бы меня на слове. Стоит мне назвать одно, или два, или даже десять имен, и вы станете утверждать, что никого, кроме названных, я просто не знаю. Да и вообще, зачем мне это делать? Если бы я назвал вам на выбор, например, Льва Толстого, Иисуса Христа и Иммануила Канта, то и вы призадумались бы, прежде чем выбрать самого великого; скорее всего вы сказали бы, что все трое велики каждый на свой лад, и тут вся либеральная, передовая печать с вами бы согласилась.

– А по-вашему мнению, кто из них самый великий? – перебивает она.

– По моему мнению, сударыня, самый великий не тот, кто вызывает наибольшее общественное брожение, хотя теперь, как и в прежние времена, такой человек голосит громче всех. Но внутреннее чувство подсказывает мне: самый великий тот, кто придает нашему существованию наибольший смысл, кто оставляет наиболее осязаемый след. Все дело в масштабах. Если хотите, великий террорист – величайший из людей, так сказать, рычаг, могущий перевернуть миры...

– Но из этих трех имен ведь все же – Христос?

– Несомненно, несомненно, Христос, – торопливо поддакиваю я, – вы совершенно правы, сударыня. И я рад, что хоть в этом пункте мы достигли полного единодушия... Но вообще-то я ни в грош не ставлю ни способность вызывать общественное брожение, ни страсть проповедовать. Все это дар суесловия, чисто механическое умение тасовать затертые слова, как колоду карт. Кто он, такой проповедник, профессиональный проповедник? Человек, который играет столь же отрицательную роль в обществе, как, скажем, перекупщик. Он – своего рода коммивояжер, и чем больше товара ему удастся сбыть с рук, тем больше его мировая слава. Ха-ха!.. Вот ведь как обстоят дела! Чем базарнее у него ухватки, тем шире его торговля. Какой смысл в том, чтобы проповедовать фаустовские взгляды моему доброму соседу Уле Нурдистуэну! Неужто это изменит образ мыслей грядущих поколений?

– Но как же жить самому Уле Нурдистуэну, если ему никто...

– Да пусть Уле Нурдистуэн провалится в тартарары!.. – кричу я. – Уле Нурдистуэну нечего делать в этом мире, его удел бессмысленно слоняться до тех пор, пока его не хватит кондрашка. А значит, чем скорее он даст дуба, тем лучше. Уле Нурдистуэн существует только для того, чтобы удобрять собой землю, это тот солдат, по которому проскакал на своем коне Наполеон. Вот кто такой Уле Нурдистуэн, да будет вам известно! Уле Нурдистуэн, черт меня подери, даже не начало, а уж тем более не итог чего бы то ни было, он даже не запятая в книге жизни, а мушиное пятно на бумаге!.. Вот что такое Уле Нурдистуэн!..

– Замолчите, Бога ради, замолчите, – испуганно взмолилась дама в черном и взглянула на председателя, мол, не намерен ли он выгнать меня вон.

– Хорошо, – отвечаю я. – Ха-ха-ха! Хорошо, я буду молчать. – Но тут взгляд мой падает на ее ослепительный рот, и я говорю: – Прошу прощения, сударыня, что я так долго докучал вам всякими глупостями и болтал без умолку. Могу ли я как-нибудь отблагодарить вас за ваши добрые намерения? У вас, сударыня, необыкновенно привлекательный рот, когда вы улыбаетесь. Прощайте.

Она краснеет до корней волос и приглашает меня к себе домой. Да, просто-напросто к себе домой. Туда, где она живет. Ха-ха-ха! А живет она на такой-то улице, дом номер такой-то. Ей хотелось бы поглубже обсудить со мной эти вопросы. Она со мной не согласна и имеет ряд возражений. Если бы я пришел завтра вечером, то застал бы ее одну. Ну так как, приду ли я завтра вечером? Благодарю. Итак, до скорой встречи.

Короче говоря, выяснилось, что ей нужно было показать мне новое пушистое одеяло с народным орнаментом, вытканное в Халлингдале.

«Что-то стало жарко. Ах, солнце светит ярко...» Нагель вскочил с кровати, раздернул занавески и выглянул в окно. Рыночная площадь была залита солнцем, погода стояла прекрасная. Он позвонил. Он решил воспользоваться нерадивостью Сары, чтобы подкатиться к ней. Посмотрим, на что способны здешние девчонки с такими сладострастными глазами. Скорее всего его ждет разочарование.

Ни слова не говоря, он обнял ее за талию.

– Отстаньте! – буркнула она сердито и оттолкнула его. Тогда он спросил ледяным тоном:

– Почему мне до сих пор не принесли башмаков?

– Ой, простите меня за башмаки, – ответила Сара, – у нас сегодня стирка и пропасть всякой работы.

Он просидел дома до полудня, а потом пошел на кладбище, чтобы присутствовать на похоронах Карлсена. Как всегда, он был в своем желтом костюме.

V

На кладбище еще никого не было. Нагель подошел к вырытой могиле и заглянул в нее. На дне ямы лежали два белых цветка. «Кто бросил их туда и зачем? Я уже где-то видел эти белые цветы», – подумал он и вдруг спохватился, что небрит.

Он взглянул на часы, прикинул время и быстрым шагом вернулся в город. На Рыночной площади он увидел поверенного, который шел ему навстречу. Нагель, глядя в упор, двинулся прямо на него. Никто из них ничего не сказал, они не поклонились друг другу. Нагель вошел в парикмахерскую, когда раздался похоронный звон.

Нагель не торопился, ни с кем не заговорил, буквально не проронил ни слова, а молча принялся разглядывать картины, развешанные по стенам. Он переходил от стены к стене и подолгу разглядывал каждую картину. Наконец пришла его очередь, и он уселся в кресло, откинувшись на спинку.

Когда он, свежевыбритый, вышел на улицу, он снова повстречал поверенного, который, видимо, вернулся на площадь и теперь явно кого-то поджидал. В левой руке у него была трость, но как только он увидел Нагеля, он перекинул ее в правую руку и принялся ею размахивать. Они медленно шли навстречу друг другу. «Когда я повстречал его в первый раз, у него не было палки, – подумал Нагель, – а палка эта не новая, значит, он не купил ее, а у кого-то взял. Это испанский тростник».

Когда они поравнялись, поверенный остановился. Нагель тоже остановился; они оба остановились почти одновременно. Нагель слегка сдвинул на лоб свою бархатную кепку, словно намереваясь почесать затылок, а потом снова надел ее как надо. Поверенный же, напротив, громко стукнул тростью о булыжник и грузно оперся на нее. Он простоял так несколько секунд, по-прежнему не говоря ни слова. Вдруг он выпрямился, резко повернулся к Нагелю спиной и пошел своей дорогой. Нагель следил за ним, пока он не исчез за углом парикмахерской.

Эта немая сцена разыгралась на глазах нескольких зрителей. Среди них был, например, продавец лотерейных билетов, а неподалеку сидел торговец гипсовыми фигурками, и он тоже наблюдал эту удивительную встречу. Нагель узнал в нем одного из посетителей кафе, которые оказались свидетелями вчерашнего столкновения с поверенным, а потом приняли его, Нагеля, сторону во время объяснения с хозяином.

Когда Нагель вторично появился на кладбище, пастор уже произносил надгробное слово. Народу собралось невесть сколько. Нагель не подошел к могиле, а присел в сторонке на большую новую мраморную плиту с надписью: «Вильгельмина Меек. Родилась 20 мая 1873 г., скончалась 16 февраля 1891». Вот и все, что там значилось. Плита была только-только из мастерской, а холмик, на котором она покоилась, свежееутрамбован.

Нагель жестом поманил к себе какого-то мальчишку.

– Видишь вон того человека, ну того, в коричневом сюртуке?

– Тот, в фуражке? Это Минутка.

– Сбегай, позови его сюда.

Мальчишка побежал.

Когда Минутка подошел, Нагель поспешно встал, протянул ему руку и сказал:

– Добрый день, мой друг. Рад вас снова увидеть. Вы получили обещанный сюртук?

– Сюртук? Нет, еще нет. Но я его, наверно, скоро получу, – ответил Минутка. – Да, я ведь не поблагодарил вас как следует за вчерашнее – спасибо вам за все... Вот так, сегодня мы хороним Карлсена. Приходится с этим примириться, все мы под Богом ходим.

Они оба сидели на новой надгробной плите и тихо разговаривали. Нагель вынул из кармана карандаш и стал что-то писать на полированном мраморе.

– Кто здесь похоронен? – спросил он.

– Вильгельмина Меек. А мы для краткости звали ее просто Мина Меек. Она ведь и была почти ребенком. Думаю, ей не исполнилось и двадцати.

– Да, судя по надписи, ей не было восемнадцати. Она, что, тоже была прекраснейшим человеком?

– Вы говорите это таким странным тоном, но...

– Я просто подметил вашу удивительную способность хорошо отзываться обо всех людях, какими бы они ни были.

– Если бы вам довелось знать Мину Меек, вы бы со мной согласились, я в этом уверен. Редчайшая душа. Если Господь кого-нибудь берет себе в ангелы, то она наверняка ангел.

– Она была с кем-нибудь помолвлена?

– Помолвлена? Нет, что вы. Во всяком случае, насколько я знаю. Да нет, она не была помолвлена. Она постоянно читала Святое писание и громко разговаривала с Богом, иногда даже на улице, так что прохожие слышали. И тогда люди останавливались и благоговейно молчали. Все здесь любили Мину Меек.

Нагель сунул карандаш в карман. На плите был написан какой-то стишок, карандашные строчки неприятно выделялись на белом мраморе.

– Вы возбудили всеобщий интерес, – сказал Минутка. – Я стоял там и слушал пастора, но заметил, что больше половины присутствующих заняты вами.

– Мной?

– Да. Многие перешептывались и спрашивали друг друга, кто вы такой. А теперь все они смотрят на нас.

– Скажите, кто эта дама с большим черным пером на шляпе?

– Вон та, у которой в руке зонтик с белой ручкой? Это Фредерика Андерсен, фрекен Фредерика, я вам вчера говорил о ней. А рядом с ней, ну, та, которая вот сейчас сюда смотрит, – дочь полицмейстера, фрекен Ульсен, Гудрун Ульсен. Да, я их всех знаю. Дагни Хьеллан тоже здесь. Она сегодня в черном платье, и, пожалуй, оно ей больше к лицу, чем все другие. Вы ее видели? Впрочем, сегодня все в черном, как и положено, а я сижу здесь и болтаю без толку. Видите вон того господина, в легком синем пальто и в очках? Это доктор Стенерсен, он не уездный врач, а занимается только частной практикой; в прошлом году он женился, его жена стоит вон там, в сторонке. Не знаю, видна ли вам маленькая смуглая дама в пальто, отделанном шелковым кантом. Да, это его супруга. Она часто хворает и поэтому всегда тепло одевается. А вот и поверенный...

– Не укажете ли вы мне жениха фрекен Хьеллан? – спросил Нагель.

– Нет, лейтенанта Хансена тут нет, он в плавании уже несколько дней. Он ушел в море сразу же после помолвки. Они немного помолчали, потом Нагель сказал:

– На дне могилы лежали два цветка, два белых цветка. Вы не знаете, кто их туда положил?

– Нет... – ответил Минутка. – Впрочем, раз вы спрашиваете... вы сами задали мне этот вопрос... Об этом как-то неловко рассказывать. Может быть, если бы я попросил, эти цветы положили бы на гроб и мне не пришлось бы их вот так подбрасывать. Но ведь это всего два цветка, и куда их ни положи, они так и останутся двумя жалкими цветками. Поэтому я поднялся сегодня около трех утра, вернее сказать, ночи, и пошел на кладбище. Я спрыгнул в могилу и своими руками положил эти цветы на дно, и там, в могиле, я дважды громко попрощался с покойным. Это так потрясло меня, что я убежал в лес и долго стоял, уткнувшись от горя лицом в ладони. Странное чувство испытываешь, когда прощаешься с кем-нибудь навсегда. А ведь Йенса Карлсена, хоть он был по всем статьям куда выше меня, я считал все же своим добрым другом...

– Выходит, цветы эти от вас?

– Да, от меня. Но видит Бог, я сделал это вовсе не для того, чтобы потом хвастаться. О такой малости и говорить-то не стоит. Я купил их вчера вечером, когда шел от вас. Я принес

дяде ваши деньги, и он на радостях дал мне полкроны. Он чуть было не сшиб меня с ног, так он расчувствовался. Он хочет сам вас поблагодарить. Да, да, он непременно придет к вам, я в этом уверен. Так вот, получив полкроны, я вспомнил, что не припас цветов для похорон, и тогда я отправился к пристани...

– К пристани?

– Да, к одной женщине, которая там живет.

– В одноэтажном домишке?

– Да.

– У нее седые волосы?

– Да, совсем седые; вы ее видели? Она дочь капитана, но очень нуждается. Сперва она ни за что не хотела брать мои полкроны, но я все же положил монету на стул, хотя она протестовала и все твердила: «Не надо». Она так робка и столько натерпелась из-за своей робости.

– Как ее зовут?

– Марта Гудэ.

– Марта Гудэ.

Нагель вынул свою записную книжку, записал ее имя и спросил:

– Она была замужем? Она вдова?

– Нет. Много лет, пока ее отец водил корабли, она плавала вместе с ним, а когда он умер, поселилась здесь.

– Неужели у нее нет родных?

– Право, не знаю, должно быть, нету.

– На что же она живет?

– Бог ее знает. Это никому не известно. Наверное, получает иногда небольшое пособие от благотворительного общества.

– Послушайте, вы ведь были у нее, у этой Марты Гудэ. Как выглядит ее комната?

– Ну как может выглядеть комната в такой халупе? Кровать, стол и два стула. Впрочем, нет, припоминаю, что стульев вроде три, потому что в углу, у кровати, также стоит стул, вернее, кресло, обтянутое красным плюшем; оно настолько ветхое, что придвинуто к стене. Больше в комнате ничего нет.

– В самом деле? Так-таки ничего? Неужели на стене нет часов, или старой картины, или еще чего-нибудь в этом роде?

– Нет, а почему вы спрашиваете?

– Ну а это кресло, обтянутое красным плюшем, кресло, которое уже не может само стоять и придвинуто к стене, как оно выглядит? Оно очень старое? Совсем рухлядь? На нем нельзя сидеть? Но тогда почему оно у кровати?.. Скажите, какая у него спинка? Высокая?

– Да, как будто высокая, точно не помню.

У могилы хором затянули псалом. Погребенье закончилось. Когда допели последний стих, наступила полная тишина. Потом люди стали расходиться. Большая часть толпы направилась к главным воротам кладбища, но многие еще стояли группками и тихо разговаривали. Целая компания молодых людей пошла по дорожке мимо Минутки и Нагеля; дамы с нескрываемым удивлением разглядывали обоих, и глаза их блестели от любопытства. Дагни Хьеллан залилась краской, она глядела прямо перед собой, не смея отвести взгляд ни вправо, ни влево; поверенный тоже не глядел по сторонам и чрезмерно оживленно беседовал со своей спутницей. Когда компания поравнялась с сидящими на мраморной плите мужчинами, доктор Стернсен остановился и поманил Минутку. Минутка тут же вскочил и подбежал к доктору, а Нагель остался один.

– Попросите, пожалуйста, этого господина, – донеслось до Нагеля, больше он ничего не расслышал, но вслед за тем доктор довольно громко произнес его имя, и тогда он тоже встал, снял свою бархатную кепку и поклонился.

Доктор извинился; он взялся выполнить малоприятное поручение одной из дам, с которыми сейчас шел, фрекен Меек. Она просит бережнее обращаться с этим мраморным надгробием: ведь плита совсем новая, ее только-только положили. Цемент еще не застыл, а земля рыхлая, и памятник может неравномерно осесть и покоситься. Это просьба сестры покойной.

Нагель рассыпался в извинениях. Это было с его стороны проявлением досадной рассеянности, непростительной небрежности, он прекрасно понимает беспокойство фрекен Меек. И он поблагодарил доктора.

Продолжая разговор, они пошли вместе по дорожке вслед за компанией. У ворот кладбища Минутка откланялся и ушел.

Доктор и Нагель остались вдвоем. Только тут они представились друг другу.

– Так вы намерены пожить здесь некоторое время? – спросил доктор.

– Да, – ответил Нагель. – Надо следовать обычаю жить летом на свежем воздухе, отдыхать, набираться сил на зиму, чтобы снова приняться за работу. Это прелестный городок.

– Откуда вы? Я все вслушиваюсь в ваше произношение и никак не могу определить, из какой вы местности.

– Родом я, собственно говоря, из Финмаркена. Я свен. Но жил повсюду, то тут, то там.

– А сейчас из-за границы?

– Всего лишь из Гельсингфорса.

Сперва они говорили о несущественных вещах, но вскоре разговор коснулся серьезных вопросов – выборов, неурожая в России, литературы и смерти Карлсена.

– Как по-вашему, вы хоронили сегодня самоубийцу? – спросил Нагель.

Доктор не может, да и не желает отвечать на этот вопрос. Его это не касается, и у него нет никакой охоты впутываться в эту историю. Говорят самое разное, впрочем, почему бы и не самоубийство? Всем теологам следовало бы наложить на себя руки.

– А почему, собственно?

– Почему? Да потому, что их роль уже сыграна, потому что наш век в них не нуждается. Люди начали думать сами, и религиозное чувство все больше и больше исчезает.

«Левый», – думает Нагель. Он не может понять, что выиграет человечество, если уничтожить все символы, всю поэзию. Кроме того, еще вопрос, в самом ли деле все теологи окажутся в наше время лишними, тем более что религиозное чувство отнюдь не ослабевает...

– Само собой разумеется, я имею в виду не низшие слои общества, хотя и там все больше и больше... Что до образованных людей, то у них оно безусловно исчезает. Впрочем, не стоит больше об этом говорить. Наши точки зрения столь решительно расходятся, – резко оборвал доктор.

Он человек свободомыслящий и такого рода возражения слышал так часто, что и счет им потерял. Но разве это поколебало его убеждения? Вот уже двадцать лет он ни на йоту не изменяет самому себе. Как врач, он постепенно вытравлял из сознания своих пациентов представление о душе... Нет, нет, он уже перерос все эти предрассудки... Что вы думаете о выборах?

– О выборах? – Нагель рассмеялся. – Надеюсь, что все будет в порядке.

– Конечно, я тоже! – подхватил доктор. – Если правительство не получит большинства при такой действительно демократической программе, это будет просто позор.

Доктор принадлежал к «левым» и был радикалом с тех самых пор, как стал немного разбираться что к чему. Его тревожит положение в округе Бускеруд, да и, пожалуй, на округ Смолёнен надежды тоже плохи. Вся беда в том, что у «левых» слишком мало средств. Люди с деньгами, такие, как вы, должны бы нас поддержать. Ведь сейчас, в самом деле, поставлено на карту будущее страны.

– Я? С деньгами? – переспросил Нагель. – Увы, на этот счет мне похвастаться нечем.

– Ну, понятно, вы не миллионер, но кто-то говорил мне, что вы богач, что вы, например, владеете поместьем, оцененным в шестьдесят две тысячи крон.

– Ха-ха-ха! Потеха, да и только! В действительности же я на днях получил небольшое наследство от матери – несколько тысяч крон. Вот и все. Никакого поместья и в помине нет. Это мистификация.

Тем временем они дошли до дома доктора – двухэтажного особняка с верандой, крашеного охрой. Краска кое-где облупилась, водосливы проржавели, в одном из окон второго этажа было выбито стекло, а занавески отнюдь не отличались свежестью. Запущенность дома неприятно поразила Нагеля, и ему тут же захотелось уйти, но доктор сказал:

– Не зайдете ли к нам? Нет? Но я надеюсь тогда увидеть вас у себя в другой раз. Моя жена и я будем вам очень рады. А то, может быть, зайдете, познакомитесь с женой?

– Но ведь ваша жена была на похоронах, едва ли она вернулась.

– Пожалуй, вы правы. Она ушла с кладбища с друзьями. Тогда милости прошу в другой раз, когда будете проходить мимо.

Нагель направился к себе в гостиницу. Как раз в тот момент, когда он собирался войти в дверь, он что-то вспомнил. Он прищелкнул пальцами, коротко, но громко рассмеялся и произнес почему-то вслух: «Любопытно, там ли еще стишок?» После этого он повернул назад, дошел до кладбища и разыскал могилу Мины Меек. Вокруг не было ни души, но стишок оказался стертым. Кто это сделал? От написанных карандашом слов не осталось и следа.

VI

На следующее утро Нагель был веселым и просветленным. Это настроение пришло к нему, когда он еще лежал в постели. Ему вдруг почудилось, что потолок его комнаты поднимается все выше и выше, уходит в бесконечность и превращается в далекий и ясный небосвод. И он явственно ощутил, что его обвевает мягкий, ласковый ветер, словно он лежит на лужайке в зеленой траве. В комнате жужжали мухи; было теплое летнее утро.

Он мигом оделся, вышел из гостиницы не позавтракав и отправился бродить по городу. Пробило одиннадцать часов.

Чуть ли не из каждого дома доносились звуки рояля, из открытых окон, от квартала к кварталу, неслись разные мелодии, и какой-то чувствительный пес отвечал им протяжным воем. Светлая, безотчетная радость овладела Нагелем, исподволь он начал напевать что-то про себя, а когда прошел мимо старика, который поклонился ему, он воспользовался этим, чтобы сунуть старику шиллинг.

Поравнявшись с большим белым домом, он замечает, что на втором этаже распахивается окно и тонкая белая рука опускает крючок в петлю. Занавеска продолжает колыхаться, рука задерживается на крючке, и Нагель соображает, что кто-то из-за занавески наблюдает за ним. Он останавливается и глядит наверх, он долго стоит выжидая, но никто не показывается в окне. Тогда он смотрит на табличку у двери: «Ф. – М. Андерсен, датское консульство».

Нагель пошел было дальше, но еще раз обернулся и увидел в окне продолговатое аристократическое лицо фрекен Фредерики, которая устремила на него удивленный взгляд. Он снова остановился, глаза их встретились, и ее щеки постепенно стали пунцовыми, но, словно бросая вызов, фрекен Фредерика слегка подтянула рукава и облокотилась на подоконник. Она долго стояла так, не меняя позы, и Нагель решил положить этому конец и двинулся дальше, а на ум ему пришла странная мысль: уж не стояла ли молодая дама на коленях перед окном. «Если это так, – рассуждал он про себя, – то в доме консула очень низкие потолки, потому что окно находится на высоте не более шести футов, а от верха рамы до крыши нет и фута». Он тут же рассмеялся над своими дурацкими расчетами – на кой ляд ему сдался дом консула Андерсена!

Внизу, на пристани, работа кипела вовсю. Грузчики, таможенные чины, рыбаки сновали у причалов и сутились, каждый был занят своим делом, гремела цепью лебедка, два парохода почти одновременно загудели, готовясь к отплытию. Море сверкало как зеркало, отражая ослепительный солнечный свет, и казалось, что это не море, а гигантский диск из чистого золота, в который впаяны пароходы и лодки. С огромного трехмачтового судна, стоящего на рейде, доносились трели шарманки, и когда на мгновение смолкали гудки пароходов и грохот лебедки, тоскливая мелодия робко, словно прерывистый замирающий девичий голос, заполняла тишину. На борту трехмачтовика команда веселилась, и матросы, дурачась, лихо отплясывали польку под дрожащие звуки унылой песенки.

Вдруг Нагель заметил девочку, совсем крохотку, которая стояла, прижав к груди кошку; задние лапы свисали, почти касаясь земли, но кошка терпеливо все сносила и не делала никаких попыток вырваться. Нагель погладил девочку по щеке.

– Это твоя кошка? – спросил он.

– Да. Два, четыре, шесть, семь.

– Вот как, ты и считать умеешь!

– Да. Семь, восемь, одиннадцать, два, четыре, шесть, семь.

Он пошел дальше. В той стороне, где находилась усадьба пастора, взмыл в небо белый голубь, словно ошалевший от солнца, и тут же исчез за верхушками деревьев. Он был подобен серебряной стреле, сверкнувшей вдали. Раздался негромкий сухой выстрел, и вслед за ним над лесом, по ту сторону залива, поднялось облачко голубоватого дыма.

Дойдя до последнего причала, Нагель несколько раз прошелся взад-вперед по пустынной набережной, а потом почему-то взобрался на холм и скрылся в лесу... Он шагал уже добрых полчаса, все больше и больше углубляясь в чащу, и остановился наконец на узенькой тропинке. Его поразила тишина вокруг, ни звука, ни даже птичьего щебета, а на небе ни облачка. Он отошел на несколько шагов в сторону, выбрал место посуше и лег на спину, вытянувшись во весь рост. Справа находилась усадьба пастора, слева – город, а над ним безбрежным океаном раскинулось голубое небо.

Вот бы очутиться там, в вышине, побродить между светилами и почувствовать, как кометы своими хвостами овевают твой лоб! Как мала Земля и как жалок человек! Чего стоит вся Норвегия с двумя миллионами крестьян и земельным банком для получения ссуд? Быть человеком ради такой малости? В поте лица, локтями проталкиваться вперед сколько-то там лет, полных забот, чтобы затем все-таки, все-таки исчезнуть! Нагель стиснул руками голову. Это кончится тем, что он сам уйдет из жизни, сам поставит точку. Хватит ли у него духу? Решится ли он? Да. Бог свидетель, он не пойдет на попятный в последний момент. И вдруг он почувствовал себя невыразимо счастливым от мысли, что у него в запасе есть этот простой выход. Он так разволновался, что на глазах его выступили слезы и у него перехватило дыхание. И снова он как бы плыл по небесному океану, закидывал серебряную удочку и напевал. И лодка его из благоуханного дерева, и весла сияют, как белые крылья, и парус – полумесяц голубого шелка...

Он дрожал от радостного возбуждения, забыл обо всем на свете и отдался жгучим солнечным лучам. Он словно опьянел от тишины, ничто не разрушало колдовства этих минут, только откуда-то сверху доносился мелодичный мягкий звук, похожий на шум ветра, – это гудела машина вселенной, это Бог крутил свое колесо. А лес застыл, – ничто не шелохнется, ни лист, ни даже иголка на сосне. Нагель сжался в комочек, подтянул к подбородку колени, его бил озноб – так остро он ощущал переполнившую его радость. Кто-то вдруг позвал его, и он ответил «да»; он приподнялся, опираясь на локоть, и огляделся – никого не было видно. Он еще раз крикнул «да!» и прислушался, но никто не отозвался. Это было странно, он так отчетливо слышал, что кто-то назвал его по имени; но он тут же перестал об этом думать, ведь ему могло и померещиться, во всяком случае, он не допустит, чтобы ему мешали. Он был в каком-то странном состоянии, каждая клеточка его тела налилась физическим ощущением блаженства, каждый нерв ликовал, и кровь пела в жилах, он чувствовал свое нерасторжимое сродство с природой – с солнцем, с горами, со всем, что его окружало, каждое дерево, каждая кочка, каждая травинка казались ему его вторым «я».

Так пролежал он довольно долго, наслаждаясь одиночеством. Вдруг он услышал чьи-то шаги, на этот раз действительно услышал, тут уж он не мог ошибиться. Он приподнял голову и увидел человека, который шел по тропинке из города. Человек этот нес под мышкой ковригу хлеба и вел за собой на веревке корову. Он то и дело вытирал пот с лица, куртку он перекинул через руку – очень уж было жарко, но шея у него все же была дважды обмотана толстым красным шарфом. Нагель лежал тихо и наблюдал за крестьянином. Вот он перед нами, любуйтесь! Вот он, истинный норвежец, потомственный хуторянин. Ха-ха! Уроженец здешних мест, соль земли, с ковригой под мышкой и коровой, плетущейся следом. Ну и зрелище! Ха-ха-ха-ха-ха! Размотал бы ты, с Божьей помощью, о норвежский викинг, свой красный шарф да вытряхнул бы из него вшей! Но тогда ты погиб бы, ты глотнул бы свежего воздуха и тут же помер. И газеты оплакивали бы твою безвременную кончину и посвятили бы тебе все свои страницы. И чтобы не допустить в дальнейшем повторения этой печальной истории, либеральный депутат Ветле Ветлесен внес бы в стортинг законопроект о строжайшей охране национальных паразитов.

В голове Нагеля роились саркастические образы. Он вскочил и отправился в обратный путь, взвинченный и в дурном настроении. Нет, все-таки он всегда оказывается прав, куда ни

глянь – нигде ничего не увидишь, кроме вшей, лежалого сыра и катехизиса Лютера. А горожане, эти обыватели средней руки, замурованные в своих убогих домишках, недоедают, изо дня в день торгуют зеленым мылом, медными гребешками и рыбой и тешат себя лишь водкой да выборами. По ночам же, когда грохочет гром и сверкают молнии, они трясутся в своих постелях и в страхе бормочут молитвы из сборника Юхана Арендта. Покажите мне хоть одно исключение, скажите, возможно ли оно? Подарите нам, например, хоть одно выдающееся преступление, махровый грех. Я не говорю о мелких, мещанских грешках, нет, я имею в виду такое бесстыдное распутство, от которого бы волосы встали дыбом, кровавое злодеяние, королевский грех, исполненный чудовищной красоты ада! Ах, до чего все ничтожно! Что вы думаете о выборах, сударь? Меня тревожит положение в округе Бускеруд...

Но когда Нагель снова оказался на пристани, в самой гуще деловой сутолоки, его настроение стало мало-помалу исправляться, он повеселел, даже начал опять напевать себе что-то под нос. Да разве устоишь против такой погоды! День выдался на редкость хороший, просто отличный, сияющий июньский день. Весь городок утопал в солнце и сверкал, словно волшебный.

Пока Нагель дошел до гостиницы, дурное настроение отлетело от него, горечь исчезла, в сердце не было злости, и снова возник образ лодки из благоуханного дерева с парусом из голубого шелка в виде полумесяца.

Это приподнятое состояние не покидало Нагеля весь день. Под вечер он снова вышел пройтись, снова направился к морю, и снова множество мелочей приводило его в восторг. Солнце садилось, резкий, слепящий дневной свет был уже приглушен и мягко разливался по морской глади; ничто не нарушало тишины, кроме звуков, доносящихся с кораблей, но и они стихали. Нагель заметил, что на пристани то там, то здесь стали вывешивать флаги, да и на многих домах города тоже, и вслед за тем вся работа в порту прекратилась.

Он не обратил на это никакого внимания и снова пошел в лес, долго бродил, очутился в конце концов у пасторской усадьбы и даже заглянул во двор, потом снова вернулся в лес, продрался в чащу, где было уже совсем темно, и присел на валун. Одной рукой он подпер голову, пальцами другой барабанил по колену. Так сидел он долго-долго, быть может, целый час, а когда наконец поднялся, солнце уже зашло, синяя дымка сумерек окутала город.

Выйдя из леса, он остановился, пораженный. На холмах, куда ни глянь, всюду горели костры – их было, наверно, не меньше двадцати, они пылали как маленькие солнца. Залив кишмя кишел лодками, и на них то и дело рассыпались красные и зеленые искры – это жгли бенгальские огни. С одной из лодок, с той, в которой пели четверо гребцов, пустили даже несколько ракет. На набережную высыпало множество людей, они прогуливались или стояли группами, а пристань была просто черной от народа.

Нагель не смог сдержать возгласа изумления, он обратился к первому встречному и спросил, что означают эти костры и флаги. Тот взглянул на Нагеля, сплюнул, еще раз взглянул и ответил, что сегодня двадцать третье июня – канун Иванова дня. Вот оно что, канун Иванова дня! Ну конечно, так оно и есть, ошибки тут быть не может, ведь нынче и в самом деле двадцать третье июня. Подумать только, ко всему сегодня еще и ночь на Ивана Купалу! Одна радость догоняет другую, канун Иванова дня, вот ведь какая штука! Весело потирая руки, Нагель тоже поспешил на пристань и все повторял про себя, что сегодня у него удивительно счастливый день.

Еще издали Нагель увидел кроваво-красный зонтик Дагни Хьеллан, а когда, подойдя поближе, заметил, что в группе молодых людей, с которыми стояла фрекен Хьеллан, был и доктор Стенерсен, он не долго думая направился прямо к нему. Нагель приподнял кепку, пожал ему руку и почему-то еще долго стоял с непокрытой головой. Доктор представил его обществу; фру Стенерсен тоже протянула ему руку, и он сел рядом с ней. Она поражала бледностью,

землисто-серый цвет кожи придавал ей болезненный вид, но она была очень молода, едва ли старше двадцати лет. Она куталась в не по сезону теплую накидку.

Нагель надел кепку и сказал, обращаясь ко всем:

– Прошу извинить, что я ворвался в ваше общество таким незванным...

– Да что вы, вы этим доставили нам только удовольствие, – любезно прервала его фру Стенерсен. – Быть может, вы нам что-нибудь споете?

– Увы, я не в силах этого сделать. Я начисто лишен каких-либо музыкальных талантов.

– Напротив, очень удачно, что вы пришли, – сказал доктор Стенерсен, – мы как раз о вас говорили. Вы ведь играете на скрипке?

– Нет, – ответил Нагель, покачал головой и улыбнулся. – Нет, я не играю...

И вдруг, безо всякого повода, он вскакивает с места и говорит с сияющими глазами:

– Я так счастлив сегодня. Весь день, с самого утра, с той самой минуты, как проснулся, у меня радостно на душе. Вот уже десять часов, как я словно зачарованный. Представьте себе, меня буквально преследует видение: будто я плыву в лодке из благоуханного дерева с голубым шелковым парусом в виде полумесяца. Разве это не чудесно? Запах дерева я описать не могу при всем желании, даже если бы умел находить точные слова... Нет, вообразите только, я сижу в этой лодке и закидываю удочку, серебряную удочку... Простите, но разве вы, милые дамы, не находите, что это... Не знаю, право, как это выразить.

Дамы молчали, переглядывались в смущении, словно спрашивая друг у друга, как следует себя вести. В конце концов кто-то из них засмеялся, и тогда, не зная жалости, все они громко расхохотались.

Нагель обвел их взглядом, глаза его горели, он явно еще думал о лодке с голубым парусом, но руки его слегка задрожали, хотя лицо сохраняло спокойствие. Доктор, чтобы его выручить, сказал:

– Понятно, это своего рода галлюцинации, которые...

– Нет, прошу прощения, – перебил его Нагель. – А впрочем, пусть так, почему бы и нет? Дело ведь не в том, как вы это назовете. Я весь день грезил наяву, а была ли это галлюцинация или еще там что-нибудь, – право, не знаю. Началось это с самого утра; когда я еще лежал в постели, я услышал, как жужжит муха, это было мое первое осознанное восприятие после того, как я проснулся; потом я увидел, как солнечный луч вонзается в комнату сквозь дырочку в шторе. И тут же меня охватило светлое, радостное чувство. В душе моей возникло ощущение лета. Представьте себе еле уловимый шелест растущей травы, и звук этот пронизывает ваше сердце... Вы говорите – галлюцинации, – да, вероятно, я этого не знаю; но прошу обратить внимание на мою особую восприимчивость в это утро, на то, что я услышал жужжание мухи как раз в нужный момент и что именно в этот момент достаточно было ровно столько солнечного света и такой яркости, как тот луч, который проник ко мне сквозь дырочку в шторе, ну и так далее... А когда я потом встал и вышел на улицу, я первым делом увидел прелестную даму в окне особняка, – тут он поглядел на фрекен Андерсен, которая опустила глаза, – потом я увидел корабли, потом маленькую девочку с кошкой на руках и так далее, и так далее – то есть множество разных вещей, произведших на меня определенное впечатление. Вскоре после этого я попал в лес, и там, когда я лежал на спине и глядел в небо, мне представилась лодка и полумесяц паруса.

Дамы опять засмеялись; доктор, казалось, тоже заразился их весельем и спросил уже с улыбкой:

– Так вы, значит, удили серебряной удочкой?

– Да, серебряной.

– Ха-ха-ха!

И вдруг Дагни Хьеллан, густо покраснев, сказала:

– А я прекрасно понимаю, как такое может пригрезиться. Я вот отчетливо вижу и эту лодку, и голубой парус, подобный полумесяцу... и сверкающую серебряную удочку над водой. По-моему, это красиво...

Больше она ничего не могла сказать, она запнулась и умолкла, потупив глаза.

Нагель тут же пришел ей на помощь.

– Ведь верно? И я сказал самому себе: это вещее видение. Да, это предзнаменование, и пусть оно поможет тебе понять, что нельзя удить в мутной воде, только в чистой, только в чистой!.. Вот вы, доктор, спросили, играю ли я на скрипке, нет, я не играю, я не умею играть. Я вожу с собой футляр от скрипки, но в нем нет инструмента, – увы, один футляр, он набит грязным бельем. Мне казалось, что если в твоём багаже не только чемоданы, но и скрипка, – это производит хорошее впечатление. Вот я и завел себе такой футляр. Быть может, у вас составится теперь очень дурное мнение обо мне, но тут уж ничего не попишешь, хотя, поверьте, я искренне сожалею... А впрочем, во всем виновата серебряная удочка.

Изумленные дамы не смеялись больше. Доктор, поверенный Рейнерт из окружного суда и адъюнкт – все трое застыли, разинув, как говорится, рты от удивления. Взгляды всех были прикованы к Нагелю, доктор был явно растерян. Что это нашло на этого странного, невесть откуда появившегося господина? А сам Нагель преспокойно сидел на своем месте и, видно, ничего больше говорить не собирался. Тягостному молчанию, казалось, не будет конца. Но тут положение спасла фру Стенерсен. Она была сама любезность, окружала всех прямо-таки материнской заботой и бдительно следила, чтобы никто не чувствовал себя обиженным. Она даже нарочно морщила лоб и сдвигала брови и вообще старалась казаться старше своих лет только для того, чтобы придать своим словам больший вес.

– Вы приехали из-за границы, господин Нагель?

– Да, сударыня.

– Из Гельсингфорса, так, кажется, говорил мне муж?

– Да, из Гельсингфорса. То есть сейчас я непосредственно из Гельсингфорса. Я агроном и прослушал там небольшой курс лекций.

Пауза.

– А как вам понравился город? – снова спросила фру Стенерсен.

– Гельсингфорс?

– Нет, наш город.

– О, это чудный город, прелестное местечко. Просто не хочется отсюда уезжать, решительно не хочется. Ха-ха! Пожалуйста, не пугайтесь, быть может, я все же в конце концов уеду, смотря по тому, как сложатся обстоятельства... А прогроз, – добавил он и снова вскочил с места. – Если я помешал вам, то прошу извинить меня. Дело в том, что мне очень приятно посидеть вот так с вами. У меня, собственно говоря, почти никого нет, проводить время мне, можно сказать, не с кем. Я всем чужой, поэтому я приучил себя сам с собой разговаривать. Вы доставите мне большое удовольствие, если просто забудете о моем присутствии и продолжите вашу беседу, словно меня здесь нет.

– Однако вы уже успели внести некоторое разнообразие в нашу жизнь, – злобно заметил поверенный Рейнерт.

На это Нагель ответил:

– Да, господин поверенный, вам я должен принести еще особые извинения, я готов дать вам любое удовлетворение, которое вы пожелаете, но не сейчас. Хорошо? Только не сейчас.

– Да, конечно, сейчас не время и не место, – согласился Рейнерт.

– А кроме того, у меня сегодня так радостно на душе, – сказал Нагель и как-то особенно тепло улыбнулся. От этой улыбки лицо его просветлело, и он вдруг стал похож на ребенка. – Какой удивительный сегодня выдался вечер, а скоро загорятся и звезды. Вокруг на холмах полыхают костры, а с моря доносится пенье. Прислушайтесь! По-моему, поют неплохо. В

пенье, правда, я мало что смыслю, но разве это не прекрасно? Мне вспоминается одна ночь на Средиземном море, у берегов Туниса. На борту нашего парохода было человек сто пассажиров, – все артисты хора, плыли они из Сардинии. Я, естественно, держался в стороне, да и петь я не умею, я просто сидел на палубе и слушал, как хор поет в салоне, они пели всю ночь напролет. Никогда не забуду, как звучали песни той душевной, южной ночью. Я тихо приотворил все двери салона, я, так сказать, запер их пеньем, и тогда стало казаться, будто звуки эти поднимаются откуда-то из морской глубины, да, будто наш пароход уносится под эти звуки в вечность. Представьте себе поющее море, Нептунов хор.

Фрекен Андерсен, сидевшая рядом с Нагелем, не смогла удержаться, чтобы не воскликнуть:

– Боже! Как это, должно быть, замечательно!

– Я однажды слышал еще более прекрасное пенье, но это было во сне. Да и сон этот приснился мне давным-давно, когда я был еще маленьким. Взрослым не снятся такие чудные сны.

– Разве не снятся? – переспросила фрекен Андерсен.

– Нет. Возможно, это некоторое преувеличение, но... Мой последний сон я до сих пор помню очень ясно: передо мной раскинулось бескрайнее болото... Впрочем, извините меня, я болтаю без умолку и мучаю вас, заставляя все это выслушивать. Так недолго и наскучить. Поверьте, я не всегда так много говорю.

Но тут Дагни Хьеллан снова вступила в разговор.

– Я уверена, что любой из присутствующих предпочитает слушать вас, нежели говорить сам. – И, наклонившись к фру Стенерсен, она прошептала: – Уговорите его, пожалуйста, продолжать, дорогая, прошу вас, сделайте это. Какой у него голос, послушайте только!

– Я охотно буду продолжать, – сказал Нагель с улыбкой. – Сегодня я что-то особенно расположен говорить. Одному Богу известно, что это на меня нашло... Впрочем, в том сне ничего особенного и не было. Передо мной, значит, раскинулось огромное болото. Деревья на нем не росли, но оно было покрыто какими-то корнями, походившими на извивающихся змей. И среди этих странных корней бродил сумасшедший. Он и сейчас еще стоит у меня перед глазами – бледное лицо с темной бородой, но такой короткой и редкой, что сквозь нее просвечивает кожа. Он озирается по сторонам, и его широко открытые глаза полны страдания. Я лежал, притаившись, за камнем и окликнул его. Он тут же поглядел на этот камень, нисколько не удивившись, что его окликают, словно он прекрасно знал, что я лежу именно там, хотя из-за камня меня не было видно. Безотрывно смотрел он на камень, а я думал: «Все же ему меня не найти, ну а в крайнем случае, если он ко мне приблизится, я всегда успею отскочить». И хотя мне было не по себе от его пристального взгляда, я снова окликнул его, чтобы подразнить. Он сделал несколько шагов по направлению ко мне и оскалился, норовя вцепиться в меня зубами, но он не мог больше сделать ни шагу – нагромождения корней преграждали ему путь, пригнали его к земле. Он оказался словно прикованным к месту. Я снова крикнул ему, я кричал много раз подряд, и он в ярости попытался продрасться сквозь корни, хоть как-то раздвинуть их и проложить себе путь; он хватал корни охапками, расшвыривал их по сторонам, выбивался из сил, стремясь настигнуть меня, но тщетно. Тогда он застонал от бессилья, я явственно слышал его стоны. В глазах его застыла невыносимая боль. Когда я убедился, что нахожусь в полной безопасности, я поднялся, встал перед ним во весь рост и принялся махать кепкой и дразнить его пуще прежнего. Я все кричал и кричал: «Эй ты!» – топал ногами и снова кричал. Потом я подобрался еще ближе к нему, и, чтобы довести несчастного до иступления и окончательно лишить его рассудка, тыкал в него пальцем, и снова и снова оскорбительно орал ему в самое ухо: «Эй ты, эй ты!» Потом я отбежал немного назад, – пусть, мол, поймет, как близко я стоял от него. Но он все еще не сдавался, он продолжал воевать с корнями; остервенев от боли, он все еще пытался расшвырять их по сторонам, он весь изодрался, разбил в кровь лицо

и, поднявшись на цыпочки, глядел на меня в упор и вопил! Пот градом катился с его лица, искаженного нечеловеческой мукой оттого, что он не мог меня настигнуть. А я, я весь сгорал от желания разъярить его еще больше. Я снова подскочил к нему, защелкал у него под самым носом пальцами и с гнусной ухмылкой произнес: «Хи-хи-хи». Потом я швырнул в него корнем и угодил ему в губы, чуть не сбил его с ног, но он только сплюнул кровь, отер губы ладонью и тут же вновь принялся расшвыривать корни. Тогда я, совсем осмелев, протянул руку, чтобы стукнуть его по лбу, я хотел тут же отскочить, но он успел вцепиться мне в руку. О Господи, как это было страшно! Он в ярости рванулся ко мне и, как клешней, стиснул мне руку. Я закричал и отпрянул от него, и он, не выпуская моей руки, послушно поплелся за мной. Мы выбрались из болота. Теперь, когда он держал меня за руку, корни перестали быть ему помехой. Мы подошли к тому камню, за которым я сперва притаился. Тут он вдруг упал на колени и стал целовать землю, по которой я ступал; окровавленный, истерзанный, он валялся предо мной в грязи и благодарил меня за то, что я был так добр к нему. Он благословлял меня и просил Господа Бога благословить меня за мою доброту. Его широко раскрытые глаза светились преданной мольбой, он молился за меня и целовал не мои руки, даже не башмаки, но землю, только землю, по которой я ступал. Я спросил: «Почему ты целуешь землю?» – «Потому что рот мой кровоточит и я не хочу запачкать твои башмаки», – ответил он. Подумать только, он не хотел запачкать мои башмаки! Тогда я снова спросил: «За что же ты благодаришь меня, ведь я причинил тебе только зло и страдание?» – «Я благодарю тебя за то, – ответил он, – что ты не причинил мне еще больших страданий, за то, что ты был добр ко мне и не истязал меня еще больше». – «Хорошо, – сказал я, – но почему же ты тогда кричал мне что-то и даже щерил зубы, чтобы вцепиться в меня?» – «Я вовсе не хотел в тебя вцепиться, я открыл рот, чтобы просить тебя о помощи, но я не смог выговорить ни слова, и ты не понял меня. А кричал я от невыносимого страдания». – «Ты кричал от страдания?» – переспросил я. «Да...» Я поглядел на сумасшедшего, он все еще отплевывался кровью, но продолжал молиться за меня. И тут я понял, что уже видел его прежде, что я его знаю, и был он вовсе не таким уж старым – седые волосы, жалкая реденькая борода... Это был Минутка.

Нагель умолк. Все были потрясены. Поверенный Рейнерт опустил глаза и долго не отрывал взгляда от земли.

– Минутка? Это был Минутка? – переспросила фру Стенерсен.

– Да, он, – ответил Нагель.

– Уф! Мне даже стало как-то не по себе.

– А я это знала! – вырвалось вдруг у Дагни Хьеллан. – Я поняла это, когда вы сказали, что он бросился на колени и стал целовать землю. Поверьте, я тотчас догадалась. Вы хорошо с ним знакомы?

– Нет. Я виделся с ним раза два, не больше... Но послушайте, боюсь, я вам всем вконец испортил настроение. Сударыня, вы так побледнели. Помилуй Бог, ведь все это мне приснилось!

– Да, это уже никуда не годится, – подхватил доктор. – Черт с ним, с этим Минуткой, пусть себе целует на здоровье хоть все корни в Норвегии, нам-то что... Ну вот и фрекен Андерсен расплакалась. Ха-ха-ха!

– Я и не думаю плакать, – сказала фрекен Андерсен. – С чего это вы взяли? Но, по правде сказать, сон произвел на меня впечатление. Впрочем, я думаю, что и на вас тоже.

– На меня? – воскликнул доктор. – Разумеется, нет! Ни малейшего! Ха-ха-ха! Да вы все просто с ума посходили. Давайте-ка лучше пройдемся. А ну, поднимайтесь, поднимайтесь. Становится прохладно. Ты не озябла, Йетта?

– Нет, ничуть. Посидим еще немного, – ответила ему жена.

Но доктор во что бы то ни стало хотел гулять. Он снова сказал, что становится прохладно и что если общество не желает, то он пойдет один, потому что не в состоянии больше сидеть без движения. Нагель встал и пошел вместе с ним.

Они прошли несколько раз взад-вперед по набережной, с трудом пробираясь сквозь толпу, болтали о том о сем и раскланивались со знакомыми. Так гуляли они около получаса, пока фру Стенерсен не крикнула им:

– Идите скорей сюда! Знаете, что мы решили? Собраться завтра вечером у нас. Пригласим побольше народу. И вы, господин Нагель, тоже непременно должны прийти. Но предупреждаю, у нас так заведено: чем больше общество, тем меньше угощения...

– Но зато тем больше шума, – весело перебил ее доктор, – это известно. А знаешь, тебе сейчас пришла недурная идея, Йетта. Ты не всегда бываешь так находчива. – У доктора тут же исправилось настроение, лицо его расплылось в улыбке в предвкушении завтрашнего веселья. – Только не приходите поздно, и будем надеяться, что меня не вызовут к больному.

– Но я ведь не могу прийти в этом костюме, – сказал Нагель. – А другого у меня нет.

Все засмеялись, а фру Стенерсен воскликнула:

– Приходите без всяких церемоний. Это будет очень мило.

На обратном пути Нагель оказался рядом с Дагни Хьеллан. Он не приложил для этого никаких особых стараний, все вышло как-то само собой. Но и Дагни не сделала ничего, чтобы этого избежать. Она сказала, что уже заранее радуется завтрашнему вечеру, потому что у доктора всегда бывает уютно и просто, Стенерсены – превосходные люди, и у них очень весело, но тут вдруг Нагель перебил ее и спросил, понизив голос:

– Смею ли я надеяться, фрекен, что вы простили мне ту нелепую выходку в лесу?

Он произнес это горячим шепотом, так взволнованно, что она была вынуждена ответить:

– Да, теперь мне понятнее ваше поведение в тот вечер. Вы, видно, не совсем такой, как все.

– Благодарю вас, – прошептал он. – Да, да, я благодарю вас так, как никогда не благодарил никого в жизни. Но почему вы думаете, что я не такой, как все? Знайте, фрекен, что весь вечер я старался сгладить то дурное впечатление, которое, наверное, сложилось у вас обо мне поначалу. Каждое мое слово было предназначено только для вас. Ну, что вы на это скажете? Только прошу вас помнить, что я очень виноват перед вами и должен был что-то предпринять. Правда, весь нынешний день я и в самом деле находился в каком-то совсем особом настроении; но все же я намеренно изобразил себя хуже, чем я есть на самом деле, играл роль – и все это лишь затем, чтобы заставить вас поверить, что я действительно не вполне вменяем, что я вообще способен на странные выходки; я надеялся, что так скорее заслужу ваше прощение. Поэтому я ни к селу ни к городу вылез со своими снами и даже выставил себя на смех, рассказав о футляре для скрипки, добровольно признался в чуде, хотя никто меня к этому не вынуждал...

– Простите, – поспешно прервала она его. – Зачем вы мне это рассказываете и снова портите все дело?

– Нет, я ничего не порчу. Если я вам признаюсь, что в тот вечер в лесу я действительно на мгновение поддался дурному чувству и бросился за вами, вы меня поймете. Мне вдруг нестерпимо захотелось напугать вас за то, что вы побежали от меня. Ведь я вас тогда еще не знал. Но если я сейчас говорю вам, что я такой же, как и все, вы меня тоже поймете. Я ломал комедию и своим нелепым поведением поверг в изумление целое общество с единственной целью смягчить вас настолько, чтобы вы согласились хотя бы выслушать меня. И этого я добился. Вы меня выслушали – и все поняли.

– Нет, я должна откровенно признаться, что не совсем понимаю вас. Ну, пусть так. Я не стану ломать себе голову...

– И не нужно, с какой стати! Но признайтесь, завтрашний прием устраивают потому, что, по общему мнению, я – странный тип, этаким чудак, от которого можно ожидать разных

нелепых выходок. Боюсь, я вас разочарую, не исключено, что я за весь вечер и рта не раскрою, а может, и вообще не приду. Одному Богу известно, что будет завтра.

– Нет, вы непременно должны прийти.

– Должен? – переспросил он и посмотрел на нее.

Больше она ничего не сказала. Они молча шли рядом.

Так они дошли до дороги, ведущей к усадьбе пастора.

Фрекен Хьеллан остановилась, рассмеялась вдруг и сказала:

– Нет, в жизни еще такого не слыхала!.. – и покачала головой.

Они стояли, дожидаясь остальных, которые немного отстали; он хотел спросить, можно ли ему проводить ее до дому, и уже было на это решился, но в тот миг она обернулась и крикнула адьюнкту:

– Идите же, идите скорей! – и оживленно замахала рукой, чтобы его поторопить.

VII

На следующий день, ровно в шесть, Нагель появился у доктора. Он думал, что пришел слишком рано, но все общество, с которым он познакомился накануне, было уже в сборе. Среди гостей двое были ему незнакомы – адвокат и какой-то белобрысый студент. За двумя столами пили коньяк с сельтерской, а за третьим сидели дамы, поверенный Рейнерт и этот самый студент и оживленно болтали. Адьюнкт, человек молчаливый, от которого обычно и слова не услышишь, уже успел набраться как следует. Красный как рак, он был в приподнятом настроении и громко рассуждал о чем попало... Взять хотя бы Сербию, где восемьдесят процентов населения совершенно неграмотны, разве там дело обстоит лучше? Ну-ка, пусть ему ответят на этот вопрос! И адьюнкт окинул гневным взглядом присутствующих, хотя решительно никто ему не возражал.

Хозяйка дома подозвала Нагеля и усадила его за свой стол. Что он будет пить?

«А мы как раз говорили о Христиании», – сказала она. Какая странная идея пришла ему в голову – поселиться в их маленьком городке, когда у него был выбор и он мог бы жить в самой Христиании!

Нагель возразил, что вовсе не находит эту идею странной, просто ему захотелось пожить немного в сельской местности, устроить себе что-то вроде каникул. А в Христиании, к слову сказать, он сейчас не согласился бы оказаться ни за какие коврижки. Христиания – это последнее место, которое он бы выбрал.

– Да помилуйте, неужели? Ведь Христиания – столица! Туда стекаются все знаменитые, все выдающиеся люди страны, не говоря уже о выставках, концертах, театрах и тому подобном.

– Да и сколько там иностранцев! – вставила фрекен Андерсен. – Гастролеры из разных стран: актеры, певцы, музыканты, художники.

Дагни Хьеллан сидела молча, она только слушала.

Возможно, все это и так, согласился Нагель. Но когда при нем упоминают Христианию, – он уже, право, не знает почему, но всякий раз он видит перед собой часть района Грэндсен и чувствует затхлый запах вывешенной для просушки одежды. Правда, правда, он не выдумывает. И у него возникает образ чванливого провинциального городка с двумя церквями, двумя газетами, гостиницей и колонкой, куда все ходят за водой, но при этом почему-то населенного самыми великими людьми на свете. Нигде он не встречал более кичливых людей, чем там, и сколько раз, Бог ты мой, когда он там жил, он мечтал оттуда уехать!

У поверенного не укладывалось в голове, что можно испытывать такую глубокую антипатию не к отдельной личности, но к городу в целом, к столице государства. Христиания теперь уже не похожа на какой-нибудь там заштатный городишко, она по праву занимает далеко не последнее место среди столиц мира. Да и про кафе «Гранд» не скажешь, что это захудалое кафе.

Сперва Нагель ничего не возразил на замечание относительно кафе «Гранд», но затем наморщил лоб и сказал так громко, что все услышали:

– «Гранд» – это в своем роде уникальное заведение.

– Вы, кажется, говорите это с иронией?

– Отнюдь нет. «Гранд» – это знаменитое место, где собираются исключительно великие люди: если художники, то лучшие в мире, если студенты, то подающие самые большие надежды, редактора – самые блестящие, женщины – самые роскошные, поэты – самые-рассамые. Ха-ха! Сидят там день-деньской и пыжаты друг перед другом, величают друг друга гениями и счастливы от этого безмерно. Я сам видел, как там ликует всякий, кому удастся привлечь к себе внимание других.

Слова Нагеля вызвали у всех раздражение. Поверенный наклонился к фрекен Хьеллан и сказал ей довольно громко:

– В жизни своей не встречал такого надменного господина!

Она вскинула голову и метнула быстрый взгляд на Нагеля; он несомненно слышал замечание поверенного, но, видимо, пропустил его мимо ушей, более того, он чокнулся со студентом и с полным равнодушием заговорил о другом. Ей тоже претило его высокомерие. Бог его знает, что он о них всех думает, если считает себя вправе угощать их такой наглой болтовней. Что за самомнение, что за мания величия! И когда поверенный спросил ее, каково ее мнение, она ответила намеренно громко:

– Мое мнение? Извольте: для меня Христиания достаточно хороша!

Но и после ее слов, как бы обращенных к нему, Нагель продолжал оставаться невозмутимо спокойным. Он лишь внимательно посмотрел на нее, словно силясь понять, чем он мог ее рассердить. Он не сводил с нее глаз, наверно, больше минуты, шурился, явно о чем-то напряженно думал, и лицо его при этом было печально.

Но тут и адъюнкт включился в разговор и горячо запротестовал против утверждения, будто Христиания меньше, скажем, Белграда. Да и вообще Христиания, спору нет, ничуть не меньше любой столицы средней величины.

Все расхохотались. Адъюнкт с пылающими щеками и непоколебимыми убеждениями и в самом деле выглядел комично. Адвокат Хансен, небольшого роста толстяк со сверкающей лысиной, смеялся громче всех, его очки в золотой оправе тряслись, он бил себя по коленкам и хохотал до упаду.

– Средней величины! Средней величины! – хрипло выкрикивал он. – Христиания ничуть не меньше других столиц той же величины. Той же величины!.. Ничуть не меньше! Ах, Бог ты мой!.. Ваше здоровье!

Нагель снова вступил в разговор со студентом Эйеном. Да, в юности он, Нагель, тоже очень увлекался музыкой, особенно Вагнером, но с годами это прошло. Впрочем, дальше умения читать ноты и извлекать кое-какие звуки из инструмента у него дело не двинулось.

– Вы играли на рояле? – спросил студент.

Рояль был и его инструментом.

– Нет, упаси Бог! На скрипке. Но, как я уже сказал, похвастаться мне было нечем, и я вскоре это забросил.

Взгляд его случайно упал на фрекен Андерсен, которая, устроившись подле кафельной печки в углу, вот уже не менее четверти часа болтала с поверенным, их глаза встретились неожиданно, мимолетно, но она умолкла на полуслове и беспокойно заерзала на стуле.

Дагни сидела в сторонке и похлопывала по ладони сложенной газетой. На ее длинных белых пальцах не было колец. Нагель украдкой разглядывал ее. Боже, до чего же она в этот вечер была хороша! Освещенные лампой, ее густые светлые волосы на фоне темной стены казались еще светлей. Правда, когда она вот так сидела, можно было заметить, что у нее есть некоторая склонность к полноте; но стоило ей встать, как это впечатление пропадало. У нее была легкая плавная походка, словно она не шла, а скользила на коньках.

Нагель поднялся и подошел к ней.

На какой-то миг она вскинула на него свои темно-синие глаза, и тогда у него вырвалось помимо воли:

– Господи, до чего же вы хороши!

Эта откровенность вконец смутила ее, она хотела что-то сказать, но не смогла. В конце концов она прошептала:

– Будьте же хоть немного благоразумны!

Затем она подошла к роялю и принялась перелистывать ноты; щеки ее горели.

Доктор, томившийся от желания поговорить о политике, вдруг спросил:

– Вы читали сегодняшние газеты? «Моргенблад», черт меня побери, позволяет себе последнее время невесть что! Площадная брань, а не язык цивилизованных людей.

Никто доктору не возразил, и он замолк. Адвокат Хансен знал, что нужно хозяину дома для вдохновения, и поэтому подчеркнуто спокойно заметил:

– Справедливость требует признать, что виноваты обе стороны.

– Ну, дожили!.. – воскликнул доктор и вскочил. – Уж не хочешь ли ты сказать, что...

Но тут пригласили к столу. Общество двинулось в столовую, но доктор не умолк, и спор продолжался за ужином. Нагель, который сидел между хозяйкой дома и юной фрекен Ульсен, дочерью полицмейстера, не принимал в нем участия. Когда встали из-за стола, разговор о европейской политике еще не иссяк. Уже были высказаны мнения о царе, о Констансе, о Парнелле, а когда углубились наконец в обсуждение балканского вопроса, адьюнctu снова представился случай наброситься на Сербию. Он как раз только что читал в «Statistische Monatsschrift», что положение там ужасное, школы в полном запустении...

– Но одно обстоятельство вселяет в меня глубокую радость, – сказал доктор, и глаза его увлажнились. – А именно то, что Гладстон еще жив. Нальем же бокалы, господа, и выпьем за здоровье великого Гладстона – истинного демократа, нашего современника и человека будущего.

– Подождите, пожалуйста, мы тоже хотим присоединиться к вам! – воскликнула фру Стенерсен. Она наполнила бокалы, проливая от чрезмерного усердия вино, и, держа поднос в дрожащих руках, обнесла дам.

Все выпили.

– Ну, разве он не молодец! – продолжал доктор, прищелкнув языком. – Правда, последнее время он немного приболел, простудился, бедняга, но будем надеяться, он вскоре поправится. Никого из нынешних политиков мне не было бы так жалко потерять, как Гладстона. Господи, когда я думаю о нем, он видится мне этаким гигантским маяком, указывающим путь всему миру... У вас такой отсутствующий взгляд, господин Нагель, вы что, не разделяете моего мнения?

– Простите, о чем вы? Само собой разумеется, я с вами совершенно согласен.

– Конечно, Бисмарк мне тоже импонирует, но Гладстон!..

Доктору по-прежнему никто не возражал, все знали, что иначе унять его будет невозможно. В конце концов разговор совсем затух, и доктору пришлось предложить обществу сыграть в карты, чтобы хоть как-то убить время. Кто будет играть? Но тут фру Стенерсен крикнула на всю комнату:

– Нет, это я должна всем рассказать! Знаете, что мне сейчас сказал Эйен? Оказывается, господин Нагель не всегда так высоко ценил Гладстона, как сегодня. Эйен слышал однажды выступление господина Нагеля, – кажется, это было в рабочем союзе, да? Так вот, там он просто разделал Гладстона под орех. Хороши же вы, господин Нагель, ничего не скажешь! Неужели это правда? Нет уж, не отмалчивайтесь, не отмалчивайтесь!..

Фру Стенерсен проговорила все это вполне добродушно, с улыбкой, даже шутливо погрозила пальцем и еще раз потребовала, чтобы он признался, правда ли это.

Нагель смутился и ответил:

– Это, должно быть, какое-то недоразумение.

– Не стану утверждать, что вы вконец развенчали Гладстона, – сказал студент Эйен, – но вы на него резко нападали. Помню даже, что вы называли Гладстона ханжой.

– Ханжой? Гладстона – ханжой! – вскричал доктор. – Вы что, были пьяны, старина?

Нагель рассмеялся.

– Нет, я не был пьян. А может быть, и был, уж право, не помню. Похоже, что был.

– Клянусь, не иначе! – с торжеством произнес доктор.

Нагелю не хотелось пускаться в объяснения, он не поддержал разговор, и тогда Дагни Хьеллан шепнула фру Стенерсен:

– Заставь его высказаться. Слушать его так забавно.

– А что вы, собственно говоря, тогда имели в виду? – спросила фру Стенерсен. – Раз вы так резко критиковали Гладстона, значит, у вас было свое особое мнение. Пожалуйста, изложите его нам. Вы доставили бы нам большое удовольствие, а то все сядут за карты, и воцарится такая скука...

– Что ж, если я могу вас развлечь, тогда, конечно, другое дело, извольте.

Хотел ли он этими словами подчеркнуть роль, которую играл в обществе, но так или иначе губы его искривились в усмешке.

Нагель начал с того, что не помнит случая, о котором говорит господин Эйен... Видел ли кто-нибудь из присутствующих Гладстона и слышал ли, как тот выступает? Когда видишь его на трибуне, он производит сильное впечатление: это само благородство, сама справедливость. Кажется, уж в чем, в чем, а в его чистой совести и усомниться невозможно. Разве способен такой человек совершить что-либо дурное, согрешить перед Господом Богом! Он так глубоко проникнут сознанием своих добродетелей, что предполагает их и у всех своих слушателей, наперед исполнен уверенности, что и каждый из них – воплощенная добродетель...

– Но разве это не превосходная черта? Она лишь свидетельствует о его справедливости и гуманном образе мыслей, – прервал Нагеля доктор. – Никогда еще не слышал таких странных рассуждений.

– Абсолютно с вами согласен. Я сказал это, только чтобы характеризовать, чтобы выделить эту превосходную черту его личности. Ха-ха-ха! А теперь я расскажу вам случай, который мне сейчас припомнился, впрочем, мне, пожалуй, незачем его рассказывать, достаточно лишь назвать имя Кери. Не знаю, помнят ли здесь все, как Гладстон, будучи министром, не гнушался пользоваться доносами предателя Кери? К слову сказать, именно Гладстон и помог ему потом удрать в Африку, чтобы спасти его от мести фениев. Но сейчас речь не о том, это уж другая история. По правде говоря, я и сам не придавал особого значения таким мелочам – к каким только хитростям иной раз не приходится прибегать министрам! Но чтобы вернуться к тому, с чего мы начали, надо признать, что у Гладстона, когда он произносит речи, совесть безусловно чиста. Вот если бы вам довелось увидеть Гладстона на трибуне, я обратил бы ваше внимание на выражение его лица, когда он говорит. Он так преисполнен сознанием своей кристальной чистоты, что оно светится в его взгляде, звучит в переливах его голоса и прорывается в его жестах. О, как бесконечно долго льется его речь! Источник его красноречия не иссякает никогда. Вы бы только поглядели, как он находит свой ключик к каждому сидящему в зале: несколько слов торговцу скобяными товарами, несколько слов скорняку. И каждое его слово звучит так веско, словно он ценит их по кроне за штуку. Да, это и вправду забавное зрелище! Гладстон – рыцарь неотъемлемых прав, он сражается лишь за то, что уже завоевано. Ему никогда и в голову не придет снисходительно отнестись к чьему-либо заблуждению. Иначе говоря: когда он знает, что право на его стороне, он становится беспощадным, всячески подчеркивает силу своей позиции, буквально тычет ею в глаза слушателям и ничем не побрезгует, дабы пристыдить своих противников. Его мораль – самая здоровая и самая непреходящая. Еще бы – он выступает во имя христианства, гуманизма и цивилизации! Если бы кто-нибудь предложил ему столько-то там тысяч фунтов стерлингов, чтобы спасти от эшафота невинно осужденную женщину, он тотчас бы спас ее, с негодованием отверг бы деньги и никогда не поставил бы себе в заслугу этот поступок, ни за что не поставил бы, он просто не желает ставить себе такое в заслугу. Вот какой это человек! Неутомимый борец, он стремится творить только добро на нашей грешной земле, он ежедневно готов сражаться за справедливость, правду и Бога. И какие только бои он не выигрывал! Дважды два – четыре, правда победила, да прославится имя Господне!.. Впрочем, Гладстон способен и на более смелое утверждение, чем дважды два

– четыре; я сам слышал, как однажды, во время прений по бюджету, он доказывал, что если семнадцать умножить на двадцать три, получится триста девяносто один, и он одержал в тот раз блестящую, воистину грандиозную победу, он снова оказался прав, и эта правда лучилась в его глазах, звенела в его голосе и придавала монументальность его фигуре. Тут я привстал со своего места, чтобы получше разглядеть этого человека. Я понимал, что истина на его стороне, но все же привстал. И вот стою я и размышляю о полученном им числе триста девяносто один, мне очевидно, что результат правильный, но все же почему-то я говорю себе: «Нет, погоди, семнадцать на двадцать три будет триста девяносто семь!» Я, конечно, прекрасно знаю, что на самом деле это будет девяносто один, но все-таки, наперекор всем, упираюсь: девяносто семь, только чтобы не оказаться одного мнения с этим человеком, этим профессиональным защитником права. Какой-то голос вопиет во мне: «Восстань, восстань против этой плоской правоты!» И я восстаю, движимый жгучей внутренней потребностью, и утверждаю: «девяносто семь»! Настаиваю на этом, чтобы сохранить свое представление о праве, не дать этому человеку, так неколебимо стоящему на страже прав, опошлить его, превратить в банальность, принизить...

– Черт меня подери, сроду я не слыхивал большей галиматьи! – воскликнул доктор. – Вы возмущены тем, что Гладстон всегда оказывается прав?

Нагель улыбнулся – трудно сказать, была ли эта улыбка естественной или нарочитой, – и продолжал:

– Отнюдь нет. Меня это не возмущает и не деморализует. Конечно, я не могу рассчитывать на то, что меня здесь поймут, ну да все равно... Так вот, Гладстон – это своего рода бродячий глашатай права и правды, и голова его начинена избитыми истинами. Дважды два – четыре, – вот для него величайшая в мире мудрость. А можем ли мы отрицать, что дважды два – четыре? Конечно, нет. И говорю я это лишь затем, чтобы доказать, что Гладстон действительно всегда прав. Но все дело в том, насколько мы еще в состоянии воспринимать истину вообще, не утратили ли мы постепенно эту способность оттого, что нас потчуют такими истинами, которые не могут нас поразить. Вот ведь какая штука... Но Гладстон всегда так абсолютно прав, и совесть его так безупречна, что ему и в голову не придет добровольно перестать благодетельствовать человечество. Он вечно в пути, он вездесущ. Он всем уши прожужжал своими мудрыми сентенциями, мечась между Бирмингемом и Глазго, он даже примирил политические взгляды пробочного фабриканта и преуспевающего адвоката, он самоотверженно отстаивает свои убеждения и истязает свои старые, верные легкие, чтобы ни одно из его столь дорогих слов не осталось не услышанным. А по окончании спектакля, после того как публика выразила свой восторг, а Гладстон раскланялся, он отправляется домой, ложится в постель, складывает руки, читает молитву и безмятежно засыпает, не испытывая в душе ни малейшего сомнения, не чувствуя стыда за то, что напичкал Бирмингем и Глазго, – а чем, собственно говоря, он их напичкал? Он знает лишь одно: он исполнил свой долг перед человечеством и самим собой, – и засыпает сном праведника. Он не возьмет грех на душу и не скажет себе: «Сегодня ты не так уж хорошо справился со своим делом, ты осточертел тем двум ткачам, что сидели в первом ряду, и один из них даже зевнул». Нет, он не скажет себе этого, ибо не убежден, что это правда, а врать не желает, потому что врать – великий грех, а Гладстон не хочет грешить. Нет, он скажет себе вот что: «Мне показалось, что один человек зевнул, странно, но мне так показалось, впрочем, я, наверное, ошибся, трудно допустить, чтобы кто-нибудь зевал». Ха-ха-ха!.. Не помню, то ли я говорил в Христиании или что другое, да это и не важно. Во всяком случае, я не буду скрывать, что Гладстон никогда не был для меня высшим духовным авторитетом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.